

ДЖЕК ЛОНДОН

АЛАЯ ЧУМА
ДО АДАМА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Алая чума. До Адама
Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. Алая чума. До Адама. Сборник
Алая чума
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

До Адама
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
- Глава XII

Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII

Аннотация

Очень непривычный Джек Лондон, сильный, фантастический и многогранный. Произведения, вошедшие в эту книгу, переносят читателя в другие эпохи и заставляют совершенно по-новому взглянуть на творчество писателя. «Алая чума» – беспощадная, пугающая антиутопия о страшной эпидемии, охватившей человечество и уносящей все новые и новые жертвы. «До Адама» – поражающая воображение история о наших далеких предках-неандертальцах, только-только начинающих осознавать себя людьми.

Джек Лондон
Алая чума
До Адама
Сборник

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Перевод. Г. П. Злобин, наследники, 2020
© Перевод. Н. В. Банников, наследники, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Алая чума

I

Тропа шла по возвышению, которое когда-то было железнодорожной насыпью. Но уже много лет тут не проходил ни один поезд. С обеих сторон к насыпи подступал лес, деревья и кустарник поднимались по склонам, и зеленая волна захлестывала узкую, где не разойтись вдвоем, звериную тропу. Кое-где из земли торчали куски металла, свидетельствовавшие о том, что внизу, под слоем слежавшихся листьев и мха, были рельсы и шпалы. В одном месте молодое, дюймов десять толщиной, деревце разорвало стык и загнуло конец рельса кверху. Вместе с рельсом, повиснув на длинном костыле, причудливо вздыбилась полусгнившая шпала; то место, куда она была уложена, давно занесло песком и опавшими листьями. Угадывалось, что дорога была однорельсового типа, хотя и пришла в полный упадок.

По тропе шли двое: старик и мальчик. Они шагали медленно, ибо старик был очень дряхл; он тяжело опирался на палку, руки и ноги у него дрожали. Грубая шапка из козлиной шкуры защищала его голову от солнца. Из-под шапки

выбивались редкие пряди грязно-белых волос. Старик надвинул на глаза козырек, хитроумно сделанный из большого листа, и пристально вглядывался, куда ступать. Его борода, большими спутанными космами спадавшая на грудь, была бы белой как снег, если бы не дым костров и непогода.

Облезлая козья шкура составляла все его одеяние. Тонкие, высохшие руки и ноги выдавали крайне преклонный возраст старика, равно как потемневшая от загара кожа, многочисленные шрамы и царапины говорили о том, что долгие годы ему пришлось провести под открытым небом.

Мальчик шел впереди, с трудом приноравливаясь к медленным шажкам старика; одеждой ему также служил кусок обтрепанной шкуры с неровными краями и дырой посередине для головы. Ему было лет двенадцать, не больше. В волосы он кокетливо воткнул недавно отрезанный кабаний хвост. В руке он держал небольшой лук и стрелу, за спиной болтался колчан. Из ножен, висевших на ремне, перекинутом через шею, торчала щербатая рукоятка охотничьего ножа.

Мальчишка был черен от загара и ступал мягко, по-кошачьи. Контрастом к его опаленному солн-

цем лицу были синие глаза, смотревшие пытливо и проницательно. Казалось, он сверлил взглядом каждый предмет, попадавшийся на пути. Кроме того, он чувствовал малейшие запахи, и вздрагивающие, раздувающиеся ноздри доносили в его мозг нескончаемый поток сигналов из внешнего мира. Он обладал острым, тренированным слухом. Не прилагая никаких усилий, он улавливал в кажущемся безмолвии легчайшие звуки, улавливал, различал и группировал их, будь то шелест листьев на ветру, жужжание пчелы или звон комара, гул далекого прибоя, слышимый только в минуту затишья, или возня суслика на тропе, совсем рядом, подтаскивающего землю к отверстию своей норы.

Внезапно мальчик насторожился. Зрение, слух и обоняние одновременно предупредили его о какой-то опасности. Не оборачиваясь, он предостерегающе коснулся рукой старика, и оба замерли. Впереди, у самого края насыпи, захрустели ветки; мальчик устремил взгляд на закачавшуюся верхушку куста. Оттуда вывалился огромный серый медведь, и, увидев людей, тоже остановился как вкопанный. Встреча, очевидно, была ему не по душе, и он угрожающе заворчал. Мальчик медленно приложил стрелу к луку и так

же медленно натянул тетиву. Он не сводил глаз с медведя. Старик не шелохнулся и тоже уставился на медведя из-под своего козырька. Люди и зверь внимательно несколько секунд изучали друг друга; медведь начал обнаруживать признаки нетерпения, и мальчик кивком показал старику, чтобы тот сошел с тропы и спустился с насыпи. Сам он тоже стал пятиться назад, держа лук наготове. Они подождали немного, пока с другого склона насыпи не послышался треск ломаемых кустов, — зверь прошел. Когда они снова поднимались наверх, мальчик усмехнулся:

— Крупный!

Старик покачал головой.

— Их все больше с каждым днем, — пожаловался он тоненьким надтреснутым голоском. — Разве я думал, что доживу до такого времени, когда люди будут бояться ходить здесь! Помню, когда я был маленьким, в хороший день люди целыми семьями приезжали сюда из Сан-Франциско. И никаких медведей не было. Да, сэр, никаких. Так редко попадались медведи, что люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках.

— А что такое деньги, дед?

Прежде чем старик успел ответить, мальчик, вспомнив что-то, торжествующе сунул руку в сум-

ку, которая свисала у него под шкурой, и вытащил тусклый, потертый серебряный доллар. Старик поднес монету к носу, глаза его заблестели.

— Ничего не вижу, — пробормотал он. — Посмотри-ка, Эдвин, может быть, разберешь год чеканки.

Мальчик засмеялся:

— Ну и чудной же ты! Все врешь, будто эти крохотные черточки что-то значат.

По лицу старика пробежала тень привычной грусти, и он снова поднес монету к глазам.

— Две тысячи двенадцатый год! — взвизгнул он и залился полубезумным смешком. — Как раз тогда Правление Магнатов назначило Моргана Пятого Президентом Соединенных Штатов! Это, должно быть, одна из последних монет: ведь Алая смерть пришла в 2013 году. Господи, подумать только! Минуло уже шестьдесят лет, и я единственный, кто остался в живых с тех времен. Эдвин, где ты нашел эту монету?

Мальчик, слушавший старика с тем терпеливо-снисходительным видом, с каким слушают болтовню слабоумного, тут же ответил:

— Мне дал ее Хоу-Хоу, а он нашел ее прошлой весной, когда пас коз у Сан-Хосе. Хоу-Хоу сказал, что это деньги. Дед, ты разве не хочешь есть?

В глазах у старика мелькнул голодный огонек, и, покрепче ухватив свою палку, он заковылял по тропе.

— Хорошо, если Заячья Губа поймал краба, а то и двух… — бормотал он. — У крабов вкусное мясо, очень вкусное, особенно когда нет зубов, но зато есть внуки, которые любят своего дедушку и стараются поймать ему краба. Когда я был мальчиком…

Эдвин вдруг увидел что-то и остановился, натягивая лук. Он стоял как раз на краю овражка. Некогда здесь проходила дренажная труба, которая потом развалилась, и вздувшийся ручей размыл насыпь. На другом краю овражка, нависая над обрывом, торчал ржавый рельс, обвитый диким виноградом. Подальше, у куста, припал к земле кролик, испуганно поводя глазами. Расстояние было футов пятьдесят, но стрела, мелькнув в воздухе, настигла цель; раненый зверек, пискнув от испуга и боли, тяжело запрыгал в заросли. Тут же мелькнули загорелое тело и развевающаяся шкура: мальчик прыгнул с откоса и одним духом взобрался на противоположную сторону оврага. Молодые мускулы его играли, точно эластичные пружины. Футов через сто в кустарниковой чаще он настиг кролика, размахнувшись, ударил его

головой о ближний ствол и отдал нести старику.

— Мясо кролика очень вкусно, — начал старик дребезжащим голоском, — но уж если говорить о деликатесах, то я предпочитаю крабов. Когда я был мальчиком…

— Отчего ты все время болтаешь какую-то чепуху? — досадливо прервал мальчик своего словоохотливого спутника.

Он произнес отнюдь не эти слова, но какие-то лишь отдаленно напоминающие их гортанные, взрывные звуки, составлявшиеся в короткие, отрывистые слова, почти не передающие оттенки смысла. В его речи угадывалось сходство с речью старика, похожей на дурной, испорченный английский язык.

— Почему ты вместо «краб» говоришь «деликатес»? — продолжал мальчик. — Краб — это краб. Никогда не слышал такое смешное название!

Старик вздохнул, ничего не ответил, и дальше они шагали молча. Рокот прибоя стал слышнее, когда они вышли на опушку леса к гряде песчаных дюн, подступавших к морю. Между дюнами бродили козы, пощипывая скудную травку; за козами присматривал одетый в шкуру подросток с большой, волчьего обличья, собакой, чем-то напоминавшей шотландскую овчарку. К шуму

прибоя примешивался не то лай, не то какие-то всхлипы — низкие, нутряные, доносившиеся с больших остроконечных камней ярдах в ста от берега. Туда выползали огромные морские львы, грелись на солнце, дрались друг с другом. Поблизости вздымался дымок от костра, похожий на дикаря мальчишка подкладывал в огонь сучья. Рядом лежали несколько псов, совсем таких же, как тот, что сторожил коз. Старик ускорил шаг и, подходя к костру, стал жадно принюхиваться.

— Мидии! — пробормотал он восторженно. — И, кажется, еще краб, Хоу-Хоу? Ну, мальчики, вы и в самом деле любите своего старого дедушку!

Хоу-Хоу, паренек примерно того же возраста, что и Эдвин, засмеялся:

— Тебе хватит, дед. Я поймал четырех крабов.

Жалко было смотреть, как от жадного нетерпения у старика тряслись руки. Торопливо, насколько позволяли негнущиеся колени, он опустился на песок и палкой выкатил из углей крупную мидию. От жара створки раковины раскрылись, и розоватое мясо отлично запеклось. Старик задрожал, схватил кусок моллюска большим и указательным пальцами и поднес ко рту. Но кусок оказался чересчур горячим, и он в тот же миг выплюнул его. Старик захныкал от боли, на

глазах выступили слезы и покатились по щекам.

Мальчишки были настоящие дикари, и их юмор был весьма груб и примитивен. Происшедшее показалось им ужасно смешным, и они разразились громким смехом. Хоу-Хоу приплясывал у костра, а Эдвин в полнейшем восторге катался по земле. Прибежал мальчишка, стерегущий коз, чтобы тоже принять участие в веселье.

— Эдвин, остуди их, пожалуйста! — умолял огорченный старик, не пытаясь даже вытереть слезы, бежавшие из глаз. — И достань также краба, Эдвин. Ты же знаешь, твой дедушка любит крабов.

Раковины подсыхали на угольях и лопались от жара с громким шипением. Моллюски были большие, от трех до шести дюймов длиной. Мальчишки выгребали их из золы палками и, чтобы остудить, складывали на бревно, выброшенное на берег.

— Когда я был мальчиком, мы не смеялись над старшими, мы почитали их.

Поток бессвязных жалоб и упреков не прекращался, но внуки не обращали на деда никакого внимания. Все принялись за еду, действуя одними руками, громко чавкая и причмокивая. Старик ел осторожно, старался не спешить, чтобы снова

не обжечься. Третий мальчишка, по прозвищу Заячья Губа, незаметно насыпал щепотку песка на кусок моллюска, который дед подносил ко рту; песчинки вонзились тому в нёбо и десны, и тут снова раздался оглушительный хохот. Бедняга не догадывался, что с ним сыграли злую шутку, он фыркал и отплевывался до тех пор, пока Эдвин, смилостивившись, не подал ему тыкву со свежей водой, чтобы прополоскать рот.

— Где же крабы, Хоу-Хоу? — спросил Эдвин. — Дед хочет есть.

В глазах старика опять зажегся голодный огонек, когда ему подали краба. Клешни, панцирь — все было цело, но мясо внутри давно высохло. Дрожащими пальцами, в предвкушении удовольствия, старик оторвал одну клешню и обнаружил, что внутри пусто.

— Где же мясо, Хоу-Хоу? Где же мясо? — захныкал он.

— Я пошутил, дед. Крабов нет. Я не поймал ни одного.

По сморщенным щекам старика катились слезы бессильной обиды и разочарования, а мальчишки чуть не визжали от восторга. Потом Хоу-Хоу на место высохшего краба незаметно подложил другого, только что из золы. Клешни у него

были уже оторваны, и от белого мяса шел ароматный пар. Почувствовав знакомый запах, старик удивленно посмотрел вниз. Уныние его тотчас сменилось радостью. Он жадно втянул воздух, чуть ли не воркуя от восторга, и накинулся на еду. Это привычное зрелище не останавливало внимания внуков. Не замечали они ни отрывочных восклицаний, которые, причмокивая и чавкая, издавал старик, ни его бессмысленных, как казалось им, фраз: «Ах, майонеза бы! Майонеза! Шестьдесят лет — два поколения! — не попробовать, даже не видеть майонеза. А ведь тогда его подавали к крабам в каждом ресторанчике».

Наевшись до отвала, старик вздохнул, вытер руки о голые колени и задумчиво посмотрел на море. С ощущением сытости нахлынули воспоминания.

— А ведь когда-то на этом самом берегу было полным-полно народу, особенно по воскресеньям! И никто не боялся медведей. А вон там, как раз на скале, стоял большой ресторан, и кормили там преотлично и выбор был богатый. Четыре миллиона человек жили тогда в Сан-Франциско. Теперь в городе и во всем графстве и сорока человек, пожалуй, не наберется. По заливу беспрерывно плыли корабли: одни входили в

Золотые Ворота, другие шли в открытое море. А в небе — воздушные корабли, дирижабли и аэропланы. Они делали по двести миль в час. Почтовая компания «Нью-Йорк энд Сан-Франциско лимитед» считала такую скорость минимальной. Был один француз, забыл его имя, — так ему удалось сделать триста миль. Но это было рискованно, слишком рискованно, по мнению консервативной публики. Но он шел по верному пути и наверняка добился бы большего, если бы не Великий мор. В детстве я знал стариков, которые видели появление первых аэропланов, а теперь мне самому довелось стать свидетелем того, как исчезли последние аэропланы, и это было шестьдесят лет назад.

Внуки не слушали словоохотливого старика: они давно привыкли к его болтовне и бóльшая часть слов к тому же была им непонятна. Случившийся тут наблюдатель мог бы заметить, что в бессвязных разговорах старика с самим собой речь его обретала в какой-то степени былую стройность и изящество слога. Но когда он обращался к внукам, то снова бессознательно подлаживался к их грубому, примитивному языку.

— Тогда, правда, было мало крабов, — разгла-

гольствовал старик. — Их повыловили. И они считались самым изысканным деликатесом. Да и сезон ловли длился какой-нибудь месяц. А теперь крабов можно раздобыть в любое время года. И что удивительно: их можно наловить тут же, в прибрежных камнях у скалы, где стоял ресторан!

Пасущиеся неподалеку козы вдруг забеспокоились, сбились в кучу, и мальчишки вскочили на ноги. Собаки у костра кинулись к своему рычащему товарищу, который стерег стадо, а козы поскакали под защиту людей. С полдюжины серых отощавших волков пробирались среди дюн, готовые напасть на рычащих собак. Эдвин пустил стрелу, но она упала, не долетев до цели. Тогда Заячья Губа раскрутил пращу — вроде той, наверное, с какой Давид пошел на Голиафа, и так сильно метнул камень, что он просвистел в воздухе. Камень упал посреди стаи, и напуганные волки отступили в чащу эвкалиптового леса.

Мальчишки засмеялись и снова улеглись на песок, а старик задумчиво вздохнул. Он явно переел и теперь, сплетя пальцы на животе, снова принялся разглагольствовать.

— «Миры проходят словно дым», — продекламировал он, очевидно, строку какого-нибудь автора. — Да, все быстротечно, как дым. И чело-

веческая цивилизация на этой планете — тоже дым. Люди одомашнили животных, которых удалось приручить, уничтожили диких зверей, расчистили землю от буйной растительности. Но потом человечество умерло, планету захлестнул поток первобытной жизни, сметая на своем пути все, что сделали люди; леса и сорная трава надвинулись на поля, хищники растерзали стада, и вот по берегу, где стоял ресторан, бродят волки. — Старик ужаснулся собственным мыслям. — Там, где когда-то беспечно жили четыре миллиона людей, теперь рыщут голодные волки, и нашим одичавшим потомкам приходится защищаться доисторическим оружием от четвероногих грабителей. И все это из-за Алой смерти…

Слово «алый» привлекло внимание Заячьей Губы.

— Затвердил одно и то же! — сказал он Эдвину. — Что это такое — алая?

— «Волнует так же нас кленовый алый лист, как звук охотничьего рога», — снова продекламировал старик.

— Это значит «красный», — ответил Эдвин Заячьей Губе. — Ты не знаешь этого, потому что происходишь из племени Шофера. А они ничего не знают. «Алый» означает «красный», это точно.

— «Красный» — это «красный», так ведь? Зачем же задаваться и говорить «алый»? — ворчал Заячья Губа. — Дед, почему ты всегда говоришь такие слова, которые никто не понимает? — обратился он к старику. — «Алый» ничего не означает, но все знают, что такое «красный». Почему же ты не говоришь «красный»?

— Потому что это неточно. Чума была алая. За какой-нибудь час все лицо и тело становились алыми. Уж кому-кому знать, как не мне! Все происходило на моих собственных глазах. И я утверждаю, что чума была алой, потому что… ну, потому что она на самом деле была алой, и все. Другого слова нет.

— А по мне, лучше «красная»! — упрямился Заячья Губа. — И отец у меня красное называет красным, а уж он-то знает. Он рассказывал, что все умерли от Красного Мора.

— Твой отец — простолюдин, и предки его — простолюдины. Я ведь знаю, откуда пошло племя Шоферов. Твой дед был шофер, слуга. Он не имел никакого образования и служил у других людей. Правда, твоя бабка из хорошей семьи, но дети не пошли в нее. Отлично помню, как в первый раз встретил их: они ловили рыбу на озере Темескал.

— А что такое *образование?* — спросил Эдвин.

— Это когда красное называют алым, — насмешливо ввернул Заячья Губа и снова принялся за старика. — Отец говорил мне, что жена у тебя была из племени Санта-Роса и никакая не знатная. Это ему рассказывал его отец — до того, как загнулся. Он говорил, что перед Красным мором она была подавальщицей в харчевне, хотя я не знаю, что это такое. А ты знаешь, Эдвин?

Эдвин отрицательно помотал головой.

— Да, она была официанткой, — признался старик. — Но она была хорошая женщина и мать твоей матери. После чумы мало осталось женщин. Она оказалась единственной женщиной, какую я мог взять в жены, хотя она и служила «подавальщицей в харчевне», как выражается твой отец. Однако нехорошо так говорить о своих предках.

— А отец говорил, что жена первого Шофера была *леди*...

— Что такое леди? — поинтересовался Хоу-Хоу.

— Леди — это женщина Шофера, — быстро отозвался Заячья Губа.

— Первого Шофера звали Билл, он был, как я уже сказал, простолюдин, — объяснил дед, — но жена у него была леди, знатная леди. До Алой

чумы она была женой Ван Уордена, президента Правления Промышленных Магнатов, одного из тех десяти человек, которые управляли Америкой. Ван Уорден стоил миллиард восемьсот миллионов долларов — таких монет, как у тебя в сумке, Эдвин. А когда пришла Алая смерть, она стала женой Билла, основателя племени Шофера. Как он ее колотил! Я своими глазами видел.

Хоу-Хоу, который, лежа на животе, разгребал от нечего делать ногами песок, вдруг вскрикнул и осмотрел сначала большой палец на ноге, а потом ямку, которую он вырыл. Двое других мальчишек тоже принялись быстро раскидывать песок руками и вскоре отрыли три скелета. Два из них были скелетами взрослых людей, третий — ребенка. Старик присел на корточки, всматриваясь в находку.

— Жертвы чумы, — объявил он. — Последние дни несчастные умирали всюду прямо так, на ходу. Это, должно быть, одна семья, которая спасалась бегством, чтобы не заразиться, и смерть настигла их здесь, на берегу. Они… Послушай, что ты делаешь, Эдвин?

В голосе старика слышалось смятение: Эдвин, действуя тупой стороной охотничьего ножа, старательно выбивал зубы из челюстей одного

из черепов.

— Сделаю бусы! — ответил он.

Мальчишки, принявшись за дело, подняли отчаянный стук и не слушали старика.

— Да вы же настоящие дикари!.. Итак, уже вошли в моду бусы из человеческих зубов. Следующее поколение продырявит себе носы и нацепит украшения из костей и ракушек. Так оно и будет. Человеческий род обречен погрузиться во мрак первобытной ночи, прежде чем снова начнет кровавое восхождение к вершинам цивилизации. А когда мы чрезмерно расплодимся и на планете станет тесно, люди начнут убивать друг друга. И тогда, наверное, вы будете носить у пояса человеческие скальпы, как сейчас… как сейчас ты, Эдвин, носишь этот мерзкий кабаний хвост. И это самый мягкий из моих внуков! Выброси этот хвост, Эдвин, выброси его!

— И чего он все бормочет, этот старикашка! — заметил Заячья Губа, когда мальчишки, собрав зубы, взялись за дележ добычи.

Движения у них были быстрые и резкие, речь, особенно в минуту спора из-за какого-нибудь очень уж крупного или красивого зуба, несвязна и отрывиста. Они говорили односложными словами и короткими, рублеными фразами — скорее

бессмысленная тарабарщина, нежели язык. И все же угадывались в них следы грамматических конструкций, некое отдаленное сходство с формами высокоразвитого языка. Даже речь старика была настолько испорчена, что читатель ничего не понял бы, если записать ее буквально. На этом подобии языка он обращался, правда, только к внукам. Когда же он входил во вкус и разговаривал сам с собой, речь его понемногу очищалась, приближалась к литературной. Предложения удлинялись, приобретали отчетливый ритм и легкость, которые свидетельствовали о былом навыке говорить с кафедры.

— Расскажи нам о Красной смерти! — попросил деда Заячья Губа, после того как мальчишки, к общему согласию, закончили дележ зубов.

— Об Алой смерти, — поправил Эдвин.

— И давай без этих чудных слов, — продолжал Заячья Губа. — Говори понятно, дед, как говорят все Санта-Роса. Никто не говорит так, как ты.

II

Старику явно польстила эта просьба. Он откашлялся и начал:

— Лет двадцать — тридцать тому назад очень многие просили меня рассказать об Алой чуме. Теперь, к сожалению, никого, кажется, не интересует…

— Ну вот, опять! — недовольно воскликнул Заячья Губа. — Неужели ты не можешь не молоть чепухи? Говори понятно. Что такое «интересует»? Лопочешь как грудной младенец!

— Не приставай ты к нему, — вмешался Эдвин, — а то он разозлится и совсем не будет рассказывать. Плюнь ты на чудны́е слова! Что-нибудь поймем — и ладно.

— Давай, давай, дед! — поторопил Хоу-Хоу, так как старик тем временем начал уже распространяться о неуважении к старшим и о том, какими жестокими становятся люди, когда гибнет цивилизация и они попадают в первобытные условия.

Старик начал свой рассказ:

— На земле тогда жило очень много народу. В одном только Сан-Франциско было четыре

миллиона…

— А что такое «миллион»? — спросил Эдвин.

Старик ласково взглянул на него.

— Я знаю, что вы умеете считать только до десяти, поэтому сейчас объясню. Покажи свои руки. Вот видишь, на обеих руках у тебя десять пальцев, так? Отлично. Теперь я беру песчинку… Держи ее, Хоу-Хоу. — Старик положил песчинку мальчику на ладонь. — Эта песчинка означает как бы десять пальцев Эдвина. Я добавляю еще одну песчинку — значит, еще десять пальцев. Потом я добавляю еще, и еще, и еще… до тех пор, пока песчинок не будет столько, сколько у Эдвина на руках пальцев. Это составит «сто». Запомните это слово: «сто». Теперь я кладу в руку Заячьей Губе камешек. Он означает десять песчинок, или десять десятков пальцев, то есть сто пальцев. Затем я кладу десять камешков. Они означают тысячу пальцев. Далее я беру ракушку, которая будет означать десять камешков, или сто песчинок, или тысячу пальцев…

Старик терпеливо, то и дело повторяя объяснения, старался постепенно внушить внукам самое общее представление о счислении. По мере увеличения чисел он давал им в руки предметы различных размеров. Предметы, озна-

чающие крупные величины, он складывал на бревне и оказался в затруднении, потому что для обозначения миллионов ему пришлось взять зубы, выбитые мальчишками из черепов, а для миллиардов — панцири от крабов. Потом он остановился, потому что заметил, что внуки устали от его объяснений.

— Так вот, в Сан-Франциско было четыре миллиона человек — кладем четыре зуба.

Мальчишки медленно перевели взгляд с зубов, уложенных в ряд на бревне, к себе на руки, затем на камешки, песчинки и, наконец, на пальцы Эдвина. Потом взгляд скользнул назад, в восходящем порядке — они силились охватить умом такое непостижимое количество.

— Это очень много народу, дед, — неуверенно предположил наконец Эдвин.

— Да, очень много народу — как песку на берегу, причем каждая песчинка — это взрослый или ребенок. Да, милый, и все эти люди жили здесь, в Сан-Франциско. И когда они приезжали сюда, на этот берег, их собиралось здесь больше, чем песчинок. Больше, гораздо больше! Сан-Франциско считался красивым городом. А там, за заливом, где в прошлом году находилось наше становище, жило еще больше народу. На всем протяжении от

мыса Ричмонд до Сан-Леандро, на равнине и на холмах, раскинулся как бы один большой город с семимиллионным населением. Понимаете? Семь зубов… вот они семь миллионов.

И снова мальчишки перевели глаза с пальцев Эдвина на зубы, сложенные на бревне, и обратно.

— Мир был переполнен людьми. Численность населения Земли по переписи 2010 года составляла восемь миллиардов, да, да, восемь миллиардов — восемь панцирей от крабов. Не то что сегодня. Люди знали множество способов, как добывать пищу.

Чем больше было еды, тем больше рождалось людей. В 1800 году только в одной Европе было сто семьдесят миллионов. Сто лет спустя — положи песчинку, Хоу-Хоу, — в 1900 году, там насчитывалось уже пятьсот миллионов, значит, к пяти песчинкам надо добавить один зуб. Это показывает, как легко стало добывать пищу и как быстро увеличивалось население. В 2000 году Европу населяло уже пятнадцать сотен миллионов. То же самое было повсюду. Вот эти восемь панцирей от крабов означают восемь миллиардов человек, которые населяли землю в то время, когда началась Алая чума.

Тогда я был молодым человеком двадцати семи лет и жил по ту сторону залива Сан-Франциско, в Беркли. Эдвин, ты помнишь те огромные каменные дома, которые мы видели, когда спустились с холмов Контра-Коста? Вот там-то я и жил, в тех каменных домах. Я был профессором английской литературы.

Многое из того, что рассказывал старик, было выше разумения его внуков, и все же они жадно слушали, стараясь понять события прошлого.

— А зачем нужны эти каменные дома? — спросил Заячья Губа.

— Помнишь, как отец учил тебя плавать?

Заячья Губа кивнул.

— Ну вот, в Калифорнийском университете — так назывались те каменные дома — мы учили юношей и девушек думать — точно так же, как я с помощью песчинок, камешков и крабьих панцирей растолковал вам, сколько людей жило в те времена. Учить приходилось многому. Юноши и девушки, которых мы учили, назывались студенты. Они собирались в больших комнатах, человек сорок, пятьдесят сразу, и я говорил им всякие вещи. Ну, так же, как сейчас рассказываю вам. Рассказывал о книгах, которые были написаны много лет назад, а иногда даже и в то

самое время…

— Так это все, что ты делал: говорил, говорил и говорил? — удивился Хоу-Хоу. — А кто же добывал мясо, кто доил коз, кто ловил рыбу?

— Разумный вопрос, Хоу-Хоу, разумный вопрос! Как я уже сказал, добывать пищу в те времена было просто. Мы были очень умные. Несколько человек могли добывать пищу для многих. А остальные занимались другими делами. Вот я, как ты сказал, только говорил. Да, я говорил, говорил все время, и за это мне давали еду, много еды, отличной еды. Такой я не пробовал шестьдесят лет и вряд ли теперь попробую. Знаете, иногда я склонен думать, что самым удивительным достижением нашей гигантской цивилизации была еда — ее непостижимое обилие, бесконечное разнообразие и восхитительный вкус. Да, мальчики, то была настоящая жизнь — какие вкусные вещи мы ели!

Внукам были непонятны эти восторги, но они решили, что дед, по обыкновению, заговаривается от старости.

— Тех, кто добывал нам пищу, звали *свободными людьми.* Но это была шутка. Мы, принадлежащие к правящему классу, владели землей, машинами, всем на свете, а те люди были наши-

ми рабами. Мы забирали себе почти всю пищу, которую они добывали, и оставляли им лишь самую малость, чтобы они были в состоянии работать и добывать для нас еще больше пищи.

— А я пошел бы в лес и раздобыл бы себе еду, — заявил Заячья Губа. — И попытайся кто-нибудь отнять ее у меня, я убил бы его.

Старик засмеялся.

— Ведь я сказал, что мы, люди, принадлежащие к правящему классу, владели и землей, и лесами, и всем остальным. Тех, кто отказывался добывать для нас пищу, мы наказывали или обрекали на голодную смерть. Но таких попадалось немного. Большинство предпочитало все-таки добывать нам пищу, шить нам одежду и вообще делать для нас тысячу — положи ракушку, Хоу-Хоу, — тысячу всяких приятных вещей. Меня в те времена звали профессор Смит, профессор Джеймс Говард Смит. Мои лекции были очень популярны, иначе сказать, многие юноши и девушки любили слушать, как я рассказывал о книгах, которые написали другие люди. Я был счастлив и ел вдоволь всяких вкусных вещей. Руки у меня были мягкие, потому что я не работал ими, и тело чистое, и одежда самая изящная… — Старик с отвращением посмотрел на свою облезлую козью шкуру. — Такого

мы не носили. Даже рабы одевались лучше. И кожа у нас всегда была чистая. Каждый день мы по многу раз умывали лицо и руки. А вот вы никогда не умываетесь — разве что упадете в воду или вздумаете поплавать.

— Но ведь и ты не умываешься, дед, — возразил Хоу-Хоу.

— Куда уж там! Времена не те. Теперь я грязный старикашка. И никто не умывается, да и нечем. За шестьдесят лет я не видел ни одного куска мыла. Вы не знаете, что такое «мыло», и я не стану объяснять вам, потому что я рассказываю о другом — об Алой смерти. Вот все вы знаете, что такое хворь. Прежде мы называли это болезнью. Очень многие болезни вызывались микробами. Запомните это слово — «ми-кро-бы». Микроб — это такое крохотное существо. Наподобие клещей, какие бывают на собаках весной, когда они убегают в лес. Только микроб еще меньше. Его даже не видно…

Хоу-Хоу расхохотался.

— Ну и чудной же ты, дед! Как же можно говорить о том, чего не видно? Если ты не видел эти штуки, откуда ты знаешь, что они есть? А ну-ка, объясни! Разве можно знать то, что не видишь?

— Разумный вопрос, Хоу-Хоу, очень разумный.

И все-таки нам удалось увидеть кое-каких микробов. Дело в том, что у нас были такие устройства — они назывались микроскопы и ультрамикроскопы. Мы приставляли их к глазу и смотрели через них, и тогда все вещи становились больше, чем они есть на самом деле, а многого мы вообще без микроскопов не видели. Лучшие наши ультрамикроскопы увеличивали микробов в сорок тысяч раз. Вы не забыли, что ракушка обозначает тысячу человеческих пальцев? Возьмите сорок ракушек — во столько же раз микроб выглядел больше, когда мы смотрели на него в микроскоп. Кроме того, у нас было еще одно устройство — киноэкран, с его помощью увеличенный в сорок тысяч раз микроб становился еще во много тысяч раз больше. Так мы разглядели все, что не видно простому глазу. Возьмите одну песчинку и разделите ее на десять частей. Потом одну из частей в свою очередь разломите на десять частей, потом еще на десять, еще и еще на десять и делайте это весь день, и тогда к закату, может быть, вы получите такую же маленькую крупицу, как микроб.

Мальчишки смотрели на старика с нескрываемым недоверием. Заячья Губа презрительно фыркал, Хоу-Хоу тихонько хихикал, но Эдвин толкнул их локтем, чтобы они замолчали.

— Клещ на собаке сосет из нее кровь, а микробы, будучи очень маленькими, сами попадают в кровь и там плодятся. В теле одного человека насчитывали до миллиарда микробов… Дайте, пожалуйста, крабий панцирь… Так вот, столько, сколько означает этот панцирь. Мы называли микробов микроорганизмами. Когда миллионы или миллиарды микроорганизмов попадали в тело человека, в его кровь, он начинал хворать. Микробы вызывали болезни. Было великое множество видов этих микробов — столько видов, сколько песчинок на берегу. Мы знали только некоторых из них. Мир микроорганизмов оставался невидимым для нас, мы редко могли туда проникнуть, и мы мало что знали о нем. И все-таки кое-какие микробы нам были известны. Вот, например, bacillus anthracis, micrococcus, потом Bacterium termo и Bacterium lactis — те самые, от которых даже теперь свертывается козье молоко, Заячья Губа. Знали мы и разные виды Schizomycetes и много других…

Здесь старик ударился в рассуждения о свойствах различных микроорганизмов, причем настолько длинные и заумные, что мальчишки перемигнулись и уставились на пустынный океан, забыв о словоохотливом старике.

— А как же Алая смерть, дед? — напомнил наконец Эдвин.

Старик вздрогнул и с усилием сошел с кафедры, откуда он читал каким-то иным слушателям лекцию о новейших, шестидесятилетней давности, теориях болезнетворных микробов.

— Да, да, Эдвин, я отвлекся. Что делать, иногда воспоминания о прошлом так сильны, что забываешь, что теперь ты жалкий старик, облаченный в козью шкуру, который бродит вместе со своими внуками-дикарями, пасущими коз в первобытной пустыне. «Миры проходят словно дым», — так и наша славная гигантская цивилизация прошла, сгинула, как дым. Теперь меня зовут дедом, я дряхлый старик и принадлежу к племени Санта-Росов, потому что женился на женщине из этого племени. Мои сыновья и дочери породнились с другими племенами — с племенем Шофера, Сакраменто, Пало-Альтов. Вот Заячья Губа из племени Шофера. Ты, Эдвин, из Сакраментов, а ты, Хоу-Хоу, принадлежишь к Пало-Альтам. Название этого племени идет от названия города, который находился поблизости от другого большого очага культуры, Стэнфордского университета. Ну вот, теперь я снова вспомнил, кто я и что я. Все встало на свои места. Итак, я рас-

сказывал об Алой смерти. На чем я остановился?

— Ты говорил о микробах, которых не видно, но будто от них у человека начинается хворь.

— Да, правильно. Так вот, человек сначала не замечал, что к нему в тело попадают микробы: их было мало. Но потом каждый микроб делился пополам, и становилось два микроба, те в свою очередь делились пополам и так далее, причем делились они с такой быстротой, что очень скоро в теле человека были уже миллионы микробов. Тогда человек хворал. У него начиналась болезнь, которая называлась по тому виду микроба, который попал ему в кровь. Это могла быть корь, инфлюэнца, желтая лихорадка или тысячи иных болезней.

И вот странное дело: беспрестанно появлялись все новые и новые микробы. Давным-давно, когда на Земле жило мало людей, и болезней было наперечет. Но люди размножались, селились вместе в больших современных городах, и тогда начали появляться новые болезни — новые микробы попадали в тело человека. Миллионы людей умирали от болезней. Чем плотнее селились люди, тем страшнее становились болезни. Когда-то, еще в Средние века — это задолго до моего рождения, — по Европе пронеслась Черная

чума. И потом она не раз опустошала ее. Затем туберкулез — им неизбежно заболевали там, где люди жили скученно. Лет за сто до моего рождения разразилась бубонная чума. А в Африке распространялась сонная болезнь. Бактериологи боролись с болезнями и побеждали их так же, как вы, например, убиваете волков, защищая от них коз, или давите садящихся на вас москитов. Бактериологи…

— Дед, а что это… Как ты их называешь?

— Как бы тебе объяснить? Ну, вот ты, Эдвин, пастух, твоя обязанность — стеречь коз. И ты много знаешь о козах. А бактериолог следит за микробами, это его работа, и он много знает о них. Так вот, бактериологи боролись с микробами и иногда уничтожали их. Одной из самых страшных болезней была проказа. За столетие до меня бактериологи обнаружили микроба проказы. Они досконально изучили его, сделали много снимков — я сам их видел. Но они так и не нашли способа уничтожить микроба проказы. Но вот в 1984 году случилась Повальная чума. Она вспыхнула в стране, которая называлась Бразилия, и унесла миллионы людей. Бактериологи обнаружили микроба этой болезни и нашли способ уничтожить его, так что Повальная чума

не распространилась дальше. Они сделали так называемую сыворотку, которую вводили в тело человека. Сыворотка убивала микроба, не принося вреда человеку. В 1910 году были пеллагра и анкилостома. Бактериологи быстро разделались с ними. Но в 1947 году появилась новая, совсем неизвестная до того болезнь. Ею заражались грудные дети, не старше десяти месяцев, — у них отнимались руки и ноги, они не могли ни двигаться, ни есть. Бактериологам потребовалось одиннадцать лет, чтобы найти способ уничтожить микроба этой болезни и спасти детей.

Несмотря на все эти болезни и на новые, которые вспыхивали потом, в мире становилось все больше и больше людей, потому что было просто добывать пищу. Чем легче было добывать пищу, тем больше становилось людей. Чем больше становилось людей, тем теснее они селились. И чем теснее они селились, тем чаще появлялись новые болезни. Многие предупреждали об опасности. Еще в 1929 году Солдервецкий предупреждал бактериологов, что мир не гарантирован от появления какой-нибудь неведомой болезни, которая может оказаться в тысячу раз сильнее всех известных до сих пор и которая может привести к гибели сотни миллионов людей, а то и весь мил-

лиард. Все-таки мир микроорганизмов оставался тайной. Ученые знали, что такой мир существует, что оттуда время от времени вырываются наружу полчища микробов и косят людей. Это почти единственное, что они знали. Они догадывались, что в этом невидимом мире столько различных видов микробов, сколько песчинок на берегу моря. Иные полагали, что в нем могут нарождаться новые виды микробов. Не исключена возможность, что именно там начиналась жизнь — «безграничная плодовитость», как называл это Солдервецкий, пользуясь выражением других людей, которые писали до него…

Тут Заячья Губа поднялся на ноги, и на лице у него было написано крайнее презрение.

— Дед, — заявил он, — мне надоела твоя болтовня. Почему ты не рассказываешь о Красной смерти? Если не хочешь, так и скажи, тогда мы пойдем обратно в становище.

Старик молча посмотрел на него и тихонько заплакал. Слезы беспомощности и обиды катились у него по щекам, словно все горести долгих восьмидесяти семи лет отразились на его опечаленном лице.

— Садись-ка ты! — вмешался Эдвин. — Дед ведь рассказывает. Он как раз подходит к Алой смерти,

правда ведь, дед? Сейчас он обо всем расскажет. Садись, Заячья Губа! Продолжай, дед.

III

Старик утер слезы грязными кулаками и снова заговорил дрожащим тоненьким голоском, который креп по мере того, как рассказчик входил во вкус.

— Чума вспыхнула летом 2013 года. Мне тогда было двадцать семь лет, и я отлично все помню. Сообщения по беспроволочному телеграфу…

Заячья Губа сплюнул от злости, и старик поспешил объяснить:

— В те времена мы умели разговаривать по воздуху на тысячи миль. И вот пришло известие, что в Нью-Йорке разразилась неизвестная болезнь. В этом величественнейшем городе Америки жили тогда семнадцать миллионов. Поначалу никто не придал значения этому известию. Это была мелочь. Умерло несколько человек. Обращало внимание, однако, то, что они умерли слишком быстро и что первым признаком болезни было покраснение лица и всего тела. Через двадцать четыре часа пришло сообщение, что в Чикаго зарегистрирован такой же случай. В тот же день стало известно, что в Лондоне, самом крупном, уступающем лишь Чикаго городе, вот уже две

недели тайно борются с чумой. Все сообщения подвергались цензуре, то есть запретили говорить остальному миру, что в Лондоне началась чума.

Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот, но мы в Калифорнии, как, впрочем, и всюду, нисколько пока не тревожились. Все были убеждены, что бактериологи найдут средство против этой болезни так же, как в прошлом они находили средства против других болезней. Но беда в том, что микробы, попавшие в человеческий организм, убивали человека с поразительной быстротой. Не было ни одного случая выздоровления. Это как азиатская холера: сегодня вы ужинаете с совершенно здоровым человеком, а завтра утром, если подниметесь пораньше, видите, как его везут на кладбище мимо вашего дома. Только эта неизвестная чума поражала еще быстрее, гораздо быстрее. Через час после появления первых признаков заболевания человек умирал. Иные протянули несколько часов, но многие умирали и через десять — пятнадцать минут.

Сначала учащалось сердцебиение, поднимался жар, затем на лице и по всему телу мгновенно выступала алая сыпь. Мало кто замечал жар и сердцебиение: настораживала лишь сыпь. В

это время обычно начинались судороги, но они длились недолго и были не очень сильными. После того как человек перенес судороги, он больше не мучился и единственно — чувствовал потом, как быстро, начиная с ног, немеет тело. Сначала ступни, затем колени, затем поясница, а когда онемение доходило до сердца, человек умирал. Он не бредил, не спал. Он до конца, пока не останавливалось сердце, находился в полном сознании.

И еще странная вещь — до чего быстро разлагался труп! Как только человек умирал, тело его начинало распадаться на куски и словно таять прямо на глазах. Вот одна из причин, почему чума распространялась так быстро: миллиарды микробов, находившиеся в трупе, немедленно попадали в воздух.

Поэтому-то бактериологи и имели так мало шансов на успех в борьбе с этой болезнью. Они умирали в своих лабораториях во время исследований микробов Алой смерти. Они показали себя героями. Вместо одних, умерших, тут же заступали другие. Впервые изолировать бациллы чумы удалось в Лондоне. Телеграф повсюду разнес эту весть. Этого ученого звали Траск, но через сутки с небольшим он умер. Ученые в своих лабора-

ториях бились над тем, чтобы найти средство, поражающее чумные бациллы. Все известные лекарства не помогали. Найти средство, сыворотку, которая убивала бы микробов, но не причиняла вреда человеку, — вот в чем была загвоздка. Пытались даже применить других микробов, вводить в тело больного человека таких микробов, которые были врагами чумных микробов…

— Но ведь их же не видно, эти штуки, микробы! — возразил Заячья Губа. — А ты мелешь всякий вздор, будто они есть на самом деле! Того, что не видно, нет вообще. Драться против того, чего нет, тем, чего нет, — скажешь же тоже! Дураки они все были в те времена! Потому и загнулись. Так я и поверил в эту чепуху!

Дед снова заплакал, но Эдвин тут же взял его под защиту.

— Послушай, Заячья Губа, ты ведь и сам веришь в то, чего не видишь.

Заячья Губа замотал головой.

— Ты вот веришь, что мертвецы встают из могил. А разве ты их видел?

— Да, видел, я же говорил тебе. Прошлой зимой, когда мы с отцом охотились на волков.

— Ну ладно! Но ты всегда сплевываешь через левое плечо, когда переходишь ручей, — наседал

Эдвин.

— А это от сглазу, — отбивался Заячья Губа.

— Значит, ты веришь в сглаз?

— Ну а как же!

— А ведь ты ни разу его не видел! — торжествовал Эдвин. — Ты хуже деда с его микробами! Сам веришь в то, чего не видел. Давай рассказывай, дед, дальше!

Заячья Губа, подавленный поражением в этом метафизическом споре, прикусил язык, и старик продолжал повествование.

Не станем утяжелять рассказ излишними описаниями того, как то и дело пререкались внуки, перебивая старика, как, чуть понизив голос, обсуждали услышанное и строили всевозможные догадки, пытаясь постигнуть тот исчезнувший и неведомый мир.

— ...Наконец Алая смерть вспыхнула и в Сан-Франциско. Первый человек умер утром в понедельник. К четвергу в Окленде и Сан-Франциско люди гибли как мухи. Они умирали всюду: в постели, на работе, на улицах. Во вторник я сам увидел, как умирает человек от чумы. Это была мисс Колбрен, моя студентка. Она сидела прямо передо мной в аудитории, и вот, читая лекцию, я увидел, как лицо у нее внезапно стало алым. Я за-

молчал и только смотрел на нее: все мы были уже напуганы слухами о чуме. Девушки закричали и кинулись вон из комнаты. За ними последовали молодые люди — все, кроме двоих. У мисс Колбрен начались судороги, правда, несильные, и длились они всего минуту. Один из юношей принес ей воды. Она выпила совсем немного и вдруг воскликнула:

— Я не чувствую своих ног! — Потом, через минуту: — Ноги совсем отнялись. Как будто их и нет. И колени холодные. Я едва чувствую их.

Она лежала на полу, мы подложили ей под голову стопку тетрадей. Ничем другим мы не могли ей помочь. Тело ее холодело, онемение захватило поясницу, а когда оно достигло сердца, девушка умерла. Прошло каких-нибудь пятнадцать минут — я заметил по часам, — и она скончалась прямо в аудитории. Красивая, здоровая, полная сил женщина! С появления первых признаков болезни до момента смерти прошло всего четверть часа — вот как быстро поражала Алая чума.

За эти несколько минут, пока я оставался в аудитории с умирающей, паника охватила весь университет; студенты толпами покидали аудитории и лаборатории. Когда я вышел, чтобы доложить о случившемся декану факультета, то

обнаружил, что университетский городок пуст. Лишь несколько человек, почему-то задержавшихся здесь, спешили к своим домам. Двое из них бежали.

Декан Хоуг был один в своем кабинете, он словно сразу постарел, лицо его покрылось морщинами, которых я не замечал у него прежде. Увидев меня, он с трудом поднялся на ноги и заковылял во внутренний кабинет; захлопнув за собой дверь, он быстро запер ее на ключ. Он знал, что я мог заразиться, и испугался. Он крикнул мне через дверь, чтобы я уходил. Никогда не забуду, что я чувствовал, когда шагал по пустынным коридорам, через вымерший городок. Мне не было страшно. Да, я мог заразиться и считал себя уже мертвецом. Но угнетала меня не мысль о смерти, а чудовищность всего происходящего. Жизнь остановилась. Казалось, настал конец мира, моего мира. Ведь с самого рождения я дышал воздухом университета. Мой жизненный путь был предрешен. Мой отец был профессором этого университета и дед тоже. На протяжении полутораста лет университет работал как хорошо смазанная машина. И вдруг в один миг эта машина остановилась. У меня было такое ощущение, будто на священном алтаре угасло священное

пламя. Я был потрясен до глубины души.

Когда я вошел к себе в дом, экономка вскрикнула и убежала. Я позвонил, но никто не отозвался, и я понял, что горничная тоже скрылась. Я обошел дом. В кухне я нашел кухарку, которая собиралась уходить. Увидев меня, она завизжала, выронила чемодан со своими вещами, выскочила за дверь и, не переставая визжать, побежала к воротам. До сих пор стоит у меня в ушах этот пронзительный визг. Ведь при обыкновенных болезнях мы никогда не вели себя так. Мы спокойно посылали за доктором и сиделками, которые отлично знали свое дело. Но теперь все обстояло иначе. Человек заболевал внезапно и тут же умирал. Чума не щадила никого. Алая сыпь на лице была словно печать смерти. Мне неизвестно ни одного случая выздоровления.

Я остался один в своем огромном доме. Я уже сказал вам, что мы тогда умели разговаривать друг с другом по проводам или через воздух. Раздался телефонный звонок — это был мой брат. Он сказал, что не вернется домой, так как боится заразиться; он сообщил также, что две наши сестры будут жить пока в доме профессора Бэйкона. Брат посоветовал мне никуда не выходить до тех пор, пока не выяснится, что я не заболел.

Я согласился на все это, остался дома и в первый раз в жизни попытался приготовить себе что-нибудь поесть. Признаков чумы не появилось. Я мог разговаривать по телефону с кем угодно и узнавать новости. Кроме того, мне приносили газеты — я распорядился оставлять их у входной двери. Таким образом, я знал, что происходит в мире.

В Нью-Йорке и Чикаго царил полнейший хаос. То же самое творилось во всех крупных городах. Уже погибло около трети нью-йоркских полицейских. Умерли начальник полиции и мэр города. Никто не заботился о соблюдении закона и поддержании порядка. Трупы людей валялись на улицах не погребенные. Перестали ходить поезда и пароходы, доставлявшие в крупные города продукты, и толпы голодных бедняков опустошали магазины и склады. Повсюду пьянствовали, грабили и убивали. Население бежало из города: сначала состоятельные люди на собственных автомобилях и дирижаблях, за ними огромные массы простого люда, пешком, разнося чуму, голодая и грабя на пути фермы, селения, города.

Мы узнавали новости от человека, который засел со своим передающим аппаратом на самом верхнем этаже высокого здания. Оставшиеся в городе — он полагал, что таких несколько сотен

тысяч, — буквально посходили с ума от страха и спиртных напитков. Повсюду полыхали пожары. Он геройски остался на своем посту до конца, — наверное, какой-нибудь незаметный репортер.

Он сообщил, что в течение последних двадцати четырех часов в город не прибыло ни одного трансатлантического воздушного корабля и не поступало никаких сообщений из Англии. Ему удалось, правда, связаться с Берлином — это был город в Германии. Оттуда передали, что Гофмейер, бактериолог, последователь Мечникова, открыл противочумную сыворотку. Это было последнее сообщение из Европы: с тех пор мы, американцы, не получали оттуда вестей. Даже если Гофмейеру и посчастливилось открыть сыворотку, все равно было, очевидно, поздно, иначе сюда бы непременно прибыли европейские исследователи. Остается заключить, что в Европе произошло то же самое и лишь несколько десятков человек избежали Алой смерти.

С Нью-Йорком связь поддерживалась еще в течение суток. Потом она оборвалась. Тот человек, который передавал сообщения из высокого здания, верно, погиб от чумы или пожаров, бушевавших, по его описаниям, вокруг. Что случилось в Нью-Йорке, повторилось в других городах.

Так было и в Сан-Франциско, и в Окленде, и в Беркли. К четвергу погибло уже столько людей, что некому было убирать трупы, и они валялись повсюду. В ночь на пятницу жители начали в панике покидать город. Вообразите огромные, миллионные толпы народа — точно косяки лосося на Сакраменто, которые вам доводилось видеть во время нереста, — хлынувшие за город в тщетном стремлении убежать от вездесущей смерти. Ведь они несли микробов в своей крови. Даже воздушные корабли, на которых состоятельные люди пытались спастись, укрывшись в неприступных горах и диких пустынях, являлись разносчиками чумы.

Сотни воздушных кораблей взяли курс на Гавайи, неся туда чуму, однако болезнь уже свирепствовала на островах. Мы успели узнать об этом до того, как в Сан-Франциско воцарился хаос и стало некому принимать и передавать сообщения. Потерять связь с внешним миром — это немыслимо, невероятно! Мир словно перестал существовать, исчез без следа. Шестьдесят лет прошло с тех пор. Я знаю, что должны быть на свете Нью-Йорк, Европа, Азия, Африка, но за все это время никто ни разу не слышал о них. С приходом Алой смерти наш мир безвозвратно

распался. Тысячи лет культуры исчезли в мгновение ока, «прошли, как дым».

Я уже говорил вам, что состоятельные люди пытались спастись на воздушных кораблях, но в конце концов все они, куда бы ни скрывались, погибли, потому что микробы были даже на их кораблях. Я знаю лишь одного такого человека, который выжил, — это Мангерсон. Он потом стал Санта-Роса и женился на моей старшей дочери. Мангерсон пришел в племя через восемь лет после чумы. Был он тогда девятнадцатилетним юношей, и ему пришлось ждать двенадцать лет, прежде чем он смог взять себе жену. Дело в том, что все женщины в племени были замужем, а девочки постарше обручены. Так что он ждал, пока моей Мери не исполнилось шестнадцать. В прошлом году его сына, Кривую Ногу, задрал кугуар.

Когда вспыхнула чума, Мангерсону было всего одиннадцать лет. Отец его, один из Промышленных Магнатов, считался очень богатым и могущественным человеком. Он увез свою семью на «Кондоре», собственном воздушном корабле, пытаясь спастись в каком-нибудь глухом уголке Британской Колумбии, — это далеко на север отсюда. Но с их кораблем что-то случилось, и они

разбились у вершины Шаста. Вы слышали об этой горе — она тоже к северу. Среди них началась чума, и выжил только этот одиннадцатилетний мальчик. Восемь лет он бродил один по пустыням и дебрям в надежде встретить людей. Наконец, отправившись к югу, он наткнулся на нас, Санта-Росов.

Я, однако, забегаю вперед. Так вот, когда из городов, расположенных вокруг залива Сан-Франциско, началось поголовное бегство, я позвонил брату: телефоны пока работали. Я сказал, что бежать куда-то — чистейшее безумие, что я, к счастью, кажется, не заразился и что нам вместе с близкими родственниками следует укрыться в каком-нибудь безопасном месте. Мы выбрали здание химического факультета в университетском городке, решили запастись продуктами и с оружием в руках отбиваться в нашем убежище от непрошеных гостей.

После того как мы обо всем договорились, брат упросил меня не выходить из дома по крайней мере еще день, чтобы окончательно убедиться, что я не заразился. Я охотно согласился, и он обещал прийти ко мне на другой день. Мы подробно обсуждали, как лучше запастись продуктами и защищать здание, но как раз посередине нашего

разговора телефон перестал работать. В тот вечер погасло электричество, и я сидел один в кромешной тьме. Газеты больше не выходили, и я не знал, что творится на улицах. Откуда-то доносились крики и револьверные выстрелы, а в окно я видел отблески огромного пожара, полыхавшего в той стороне, где Окленд. Ужасная была ночь! Я ни на минуту не сомкнул глаз. На тротуаре, как раз перед моим домом, застрелили человека — не знаю, что, собственно, там произошло. Я услышал только частые выстрелы из револьвера, а через несколько минут стоны и мольбы о помощи — раненый подполз к дверям моего дома. Вооружившись двумя револьверами, я вышел к нему. При свете спички я увидел, что он умирает от огнестрельных ран и что он заражен чумой. Я заперся в доме и еще в течение получаса слышал стоны и рыдания.

Утром пришел мой брат. К тому времени я уже собрал в чемодан самые необходимые вещи. Но, посмотрев на него, я понял, что ему не суждено сопровождать меня в здание химического факультета. На лице у него появились признаки чумы. Он протянул было мне руку, но я отпрянул в смятении.

— Посмотри на себя в зеркало! — приказал я.

Он послушался и, увидев у себя на лице алую сыпь, которая темнела буквально с каждой секундой, бессильно упал в кресло.

— Боже мой! — прошептал он. — Я, кажется, заразился. Не подходи ко мне! Это конец.

Потом у него начались судороги. Он мучился два часа, причем до последней минуты находился в полном сознании и только жаловался на холод и на то, что отнялись ступни ног, затем икры, бедра, пока онемение не подошло к сердцу и он не умер.

Так поражала Алая смерть. Я схватил чемодан и кинулся прочь. Улицы являли собой страшное зрелище. Я то и дело спотыкался о мертвых и умирающих. Люди как подкошенные падали на глазах. В Беркли пылали пожары, а Сан-Франциско и Окленд превратились в один гигантский костер. Небо застилал черный дым, так что в полдень было точно в серые сумерки, и лишь временами, когда налетал ветер, тускло просвечивал из мглы багровый солнечный диск. Настал, казалось, конец света.

Всюду стояли автомашины: владельцы бросили их из-за того, что вышло горючее, а в гаражах ничего нельзя было найти. Помню один такой автомобиль — на сиденьях лежали мужчина и

женщина, оба мертвые, а неподалеку, на тротуаре, — еще две женщины и ребенок. Куда ни повернись — страшно смотреть! Крадучись, словно тени, куда-то спешили люди: бледные как полотно женщины, прижимающие младенцев к груди, отцы, ведущие за руки ребятишек… Шли поодиночке, парами, целыми семьями, стараясь поскорее выбраться из зачумленного города. Некоторые тащили за собой продукты, другие — одеяла и ценные вещи, но многие уходили совсем налегке.

Я проходил мимо бакалейной лавки — это такое место, где продавали пищу. Владелец лавки — я его хорошо знал: спокойный и уравновешенный человек, но крайне недалекий и упрямый, — защищал свое имущество от нескольких мужчин, которые ломились к нему. Двери были уже сорваны с петель, окна выбиты, но лавочник, укрывшись за прилавком, упорно палил из револьвера. У входа громоздились трупы тех, как я предполагаю, кого он убил раньше. Пока я наблюдал с приличного расстояния за схваткой, один из грабителей выбил раму в соседней лавке, где торговали башмаками, и поджег дом. Я не поспешил на помощь к бакалейщику. Пора благородных поступков миновала. Цивилизация рушилась,

каждый спасал собственную шкуру.

IV

Я быстро пошел прочь, и на первом перекрестке глазам моим открылась очередная трагедия. Двое каких-то гнусных субъектов грабили мужчину и женщину с двумя детьми. Я узнал этого человека, хотя мы не были знакомы: это был поэт, чьими стихами я давно восхищался. И все же я не бросился к нему на помощь: едва я приблизился, как раздался выстрел, и он тяжело опустился на землю. Женщина закричала, но один из негодяев тут же свалил ее ударом кулака. Я угрожающе крикнул что-то, но они стали стрелять, и мне пришлось быстро свернуть за угол. Здесь дорогу мне преградил пожар. Улица была окутана дымом: по обе ее стороны горели дома. Откуда-то сквозь чад доносился пронзительный крик женщины, взывающей о помощи. Я пошел дальше. В такие страшные минуты сердце у человека каменное, и к тому же слишком многие кричали о помощи.

Возвратившись на перекресток, я увидел, что грабители скрылись. Поэт и его жена лежали мертвые на тротуаре. Я похолодел от ужаса. Дети исчезли неизвестно куда. Только теперь я понял, почему беглецы, которых я встречал, были так

напуганы и поминутно оглядывались. Дело в том, что в самой гуще нашей цивилизации мы вырастили особую породу людей, породу дикарей и варваров, которые обитали в трущобах и рабочих гетто, и вот сейчас, во время всеобщего бедствия, они вырвались на волю и кинулись на нас, словно дикие звери. Именно звери, иначе их не назовешь! Они уничтожали и самих себя: напивались пьяными, затевали драки и, охваченные безумием, жестоко расправлялись друг с другом. Мне довелось наблюдать группу более приличных рабочих, которые силой пробивали себе дорогу; они шли в строгом порядке, поместив женщин и детей посередине и неся на носилках больных и престарелых. Лошади тащили автомобили с продовольствием. Я невольно загляделся на этих людей, двигавшихся по дымным улицам, хотя они чуть не подстрелили меня, когда я оказался у них на пути. Проходя мимо, один из их руководителей извинился передо мной. Он объяснил, что, только организовав отряд, можно защищаться от всяких бродяг и что, завидев грабителей и мародеров, они убивают их на месте.

Вот тогда-то в первый раз я и оказался свидетелем зрелища, которое стало обычным впоследствии. У одного из шагавших вдруг об-

наружились явные признаки чумы. Те, что шли рядом, немедленно расступились, и он, не говоря ни слова, вышел из рядов. Женщина, вероятно, его жена, хотела было последовать за ним. За руку она вела мальчугана. Но муж строго приказал ей не делать этого, а другие удержали ее на месте. Это произошло на моих глазах. Потом я видел, как этот человек с алой сыпью на лице вошел в подъезд дома на противоположной стороне улицы. Раздался выстрел, и он упал.

Дважды сделав крюк из-за пожаров, я наконец добрался до университета. У входа в городок я встретил группу преподавателей, которые направлялись к зданию химического факультета. Все явились со своими семьями, прихватив даже слуг и нянь. Со мной поздоровался какой-то человек, и я с трудом узнал профессора Бадминтона. Он, очевидно, пробирался сквозь огонь, и ему спалило бороду. Голова у него была перевязана окровавленными бинтами, грязная одежда разодрана в клочья. Он рассказал, что на него напали грабители и жестоко избили и что брат его погиб вчера ночью, защищая их дом.

На полпути к нашему убежищу профессор Бадминтон вдруг показал на лицо миссис Суинтон. Чумная сыпь! Остальные женщины закричали

и бросились бежать. Двое ее детей с няней побежали за ними. Но доктор Суинтон остановился подле жены.

— Не мешкайте, Смит, идите, — сказал он мне. — И присмотрите, пожалуйста, за детьми. Я останусь. Она умрет, я знаю, но я не могу бросить ее. Если не заражусь, то потом приду к вам. Тогда, пожалуйста, впустите меня.

Он наклонился над женой, пытаясь облегчить ее последние минуты, а я быстро зашагал, чтобы догнать остальных. Мы оказались последними, кому позволили войти в здание. Потом мы выставили охрану с автоматическим оружием, чтобы не пускать никого.

Первоначально было намечено, что здесь укроется человек шестьдесят, но каждый, естественно, привел родственников и друзей с семьями, так что набралось человек четыреста с лишним. Здание химического факультета было, правда, очень просторно и стояло отдельно, поэтому мы могли не опасаться пожаров, бушевавших в городе.

Нам удалось сделать значительные запасы продуктов, и продовольственная комиссия установила дневные рационы и очередность их получения. Потом мы избрали еще несколько комиссий, и у нас получилась довольно работо-

способная организация. Меня избрали членом комиссии по обороне, хотя в первый день к зданию не приблизился ни один грабитель. Однако мы видели их в отдалении и по кострам поняли, что несколько шаек разбили на другом краю городка свои лагеря. Они не переставая пили, кричали, горланили непристойные песни. Вокруг них рушился мир, стеной стоял черный дым, а эти подонки предавались животному разгулу, сквернословили, напивались, дрались и умирали. А впрочем, какая разница! Все гибли так или иначе: добродетельные и безнравственные, сильные и слабые, те, кто жаждал жизни, и те, кто устал от нее, — словом, все. Люди умирали. Умирал мир.

Прошли сутки, ни у кого из нас не обнаруживались симптомы заболевания. Мы поздравили друг друга и принялись копать колодец. Вы, конечно, видели такие большие железные трубы, по которым в мое время в жилища поступала вода. Так вот, мы опасались, что от пожаров трубы полопаются и из водохранилищ уйдет вода. Мы пробили цементное покрытие на главном дворе перед зданием факультета и стали рыть землю. Среди нас было много молодежи, студентов, и мы трудились день и ночь. Наши опасения под-

твердились. Часа за три до того, как мы достигли водоносного слоя, водопровод перестал работать.

Прошли вторые сутки, никто не заболел. Мы были, казалось, спасены. Тогда мы еще не знали того, что выяснилось позднее: инкубационный период Алой чумы длится несколько дней. Поскольку после появления первых симптомов человек умирал очень быстро, то мы предположили, что инкубационный период должен быть коротким. Оттого-то по прошествии двух суток мы и радовались, что никто из нас не заразился.

Но третий день принес разочарование. Никогда не забуду ночь накануне. С восьми вечера до двенадцати ночи я был начальником караула и с крыши здания видел, как гибли великие плоды человеческих трудов. Кругом полыхали сильные пожары, небо озарялось багровыми отсветами, так что можно было разобрать мелкий шрифт. Казалось, весь мир объят пламенем. Сан-Франциско изрыгал огонь и дым, словно действующий вулкан. Горели Окленд, Сан-Леандро, Хейуард, а на севере, вплоть до мыса Ричмонд, повсюду занимались огромные пожары. Это было грандиозно и страшно. Да, мальчики, цивилизацию сметали языки пламени и дыхание смерти. В десять часов один за другим, через короткие

промежутки времени, взорвались пороховые склады у мыса Пиноль. Толчки были такой силы, что наше здание содрогалось, как во время землетрясения, и стекла, конечно, все повыбивало. Я спустился с крыши и длинными коридорами прошел по факультету, заходя во все комнаты, успокаивая испуганных женщин и рассказывая, что случилось.

Час спустя, когда я стоял у окна на нижнем этаже, в лагере грабителей началась адская суматоха. Оттуда неслись крики, плач, выстрелы. Мы предполагали, что драка возникла из-за того, что здоровые решили изгнать из лагеря больных. Как бы там ни было, несколько заболевших убежали оттуда и столпились у входа в наше здание. Мы приказали им не приближаться, но они осыпали нас проклятиями и дали залп из револьверов. Находившийся у окна профессор Мерривезер был убит на месте: пуля попала ему прямо в лоб. Мы тоже открыли огонь, и негодяи бросились врассыпную, все, кроме троих. Среди них одна женщина. Жить им осталось немного, и от них можно было ожидать самого отчаянного поступка. Они бранились, палили из револьверов. В багровом отсвете пожарищ, с пылающими от болезни лицами, они казались какими-то от-

вратительными фантастическими существами. Одного я пристрелил собственноручно. Другие, мужчина и женщина, все еще проклиная нас, свалились под окнами здания, и нам пришлось стать свидетелями их смерти.

Положение становилось критическим. Когда взорвались пороховые склады, окна факультета были выбиты, и мы могли заразиться, так как рядом валялись разлагающиеся трупы. Члены санитарной комиссии решили принять какие-то меры. Два человека должны были оттащить трупы подальше, а это означало идти на верную смерть, потому что после их не пустили бы обратно в наше убежище. Вызвались один профессор-холостяк и студент. Эти смельчаки попрощались с нами и вышли из здания. Они пожертвовали собой ради других, чтобы спасти четыреста человек. Оттащив трупы, они печально постояли, помахали нам на прощание и медленно побрели к горящему городу.

Но все оказалось напрасно. На другое утро заболела молоденькая няня, служившая в семье профессора Стаута, — первый случай чумы среди нас. Мы не имели права сентиментальничать. Чтобы она не заразила других, мы выгнали ее из здания и приказали уходить. Девушка шла по

городку, рыдая и ломая в отчаянии руки. Конечно, мы поступили жестоко, но что было делать? Нельзя подвергать опасности четыреста человек из-за одного.

В одной из лабораторий, где поселились три семьи, мы в тот же день обнаружили четыре трупа и семь человек в разных стадиях заболевания.

Тут и пошло самое страшное. Оставив мертвых на месте, мы изолировали больных в особых комнатах. Среди остальных тоже начались случаи заболевания. Как только у кого-нибудь появлялись симптомы чумы, его отправляли в те комнаты. Чтобы не прикасаться к ним, мы приказывали им перебираться самим. У нас разрывалось сердце от жалости. А чума продолжала свирепствовать, и помещения заполнялись мертвыми и умирающими. Здоровые переходили с этажа на этаж, отступая перед этой смертоносной волной, которая постепенно, комнату за комнатой, захлестывала здание, поднимаясь с этажа на этаж.

Факультет превратился в мертвецкую, и ночью те, кого пока не тронула болезнь, покинули здание, взяв с собой лишь оружие, патроны и порядочный запас консервированных продуктов. На противоположном от грабителей краю

университетского городка мы разбили лагерь, выставили сторожевые посты и отправили в город разведчиков, чтобы раздобыть лошадей, автомобили, фургоны или подводы, — словом, что угодно, только бы погрузить наши припасы и начать пробиваться из города, как тот отряд рабочих, который я видел.

Я был назначен одним из разведчиков. Доктор Хойл сказал мне, что его автомобиль остался в гараже при его доме. Мы отправились парами, меня сопровождал молоденький студент Домби. Чтобы добраться до дома доктора Хойла, нужно было пройти полмили по жилым кварталам города. Дома здесь стояли особняком на зеленых лужайках, скрытые за густыми деревьями. Огонь прошел тут прихотливо, спалив дотла целые кварталы и не тронув другие, порой обходя даже отдельные строения. Повсюду бесчинствовали грабители. Мы шагали, держа наготове автоматические пистолеты, чтобы заранее отбить охоту нападать на нас. И все-таки у дома доктора Хойла разыгралась трагедия.

Дом этот оказался цел, но едва мы приблизились к нему, как из окон вырвались языки пламени. Негодяй, который поджег его, пошатываясь, спустился с парадной лестницы и побрел

прочь. Из карманов у него торчали бутылки виски — он был вдребезги пьян. Первым моим побуждением было пристрелить его на месте, и я до сих пор жалею, что не сделал этого. Он шел, покачиваясь из стороны в сторону, бормоча под нос что-то невнятное, глаза у него были налиты кровью, а на щеке под бакенбардой виднелась свежая рваная рана. Короче говоря, я никогда не думал, что человек может пасть так низко, как этот грязный тип. Однако я сдержался, и он прислонился к дереву, чтобы дать нам пройти. Но едва мы поравнялись с ним, как он неожиданно выхватил револьвер и выстрелил Домби в голову. Чудовищный по своей бессмысленности поступок! В ту же секунду я спустил курок. Но было уже поздно. Домби скончался сразу же, даже не вскрикнув. Думаю, что он не успел понять, что с ним произошло.

Оставив обоих убитых, я поспешил мимо горящего дома в гараж, где стоял автомобиль доктора Хойла. Бак был залит доверху, машина оказалась на ходу. Я проехал к университету напрямик через разрушенный город. Остальные разведчики вернулись раньше меня, но они ничего не разыскали. Правда, профессор Фэрмид привел откуда-то шотландского пони, но бедное живот-

ное оставили привязанным в стойле без корма, и оно за несколько дней так ослабело, что не могло нести тяжести. Кое-кто из нас хотел отпустить пони, но я настоял на том, чтобы взять его с собой: мы могли забить его, если выйдут продукты.

Когда мы отправились в путь, нас было сорок семь человек, причем большинство женщины и дети. В автомобиль усадили декана факультета, старика, вконец подавленного событиями прошедшей недели, нескольких детишек и престарелую мать профессора Фэрмида. За руль сел молодой преподаватель английской филологии Уотроп, которого тяжело ранили в ногу. Остальные шли пешком. Профессор Фэрмид вел пони.

Стоял яркий летний день, но дым от пожаров совершенно застлал небо, и лишь временами тускло просвечивал зловеще неподвижный багровый диск. Мы уже попривыкли к багровому солнцу. Но к дыму привыкнуть не могли. Он щипал ноздри, веки у всех воспалились. Мы взяли курс на юго-восток, двигаясь по бесконечным окраинным кварталам вдоль низких холмов, подступавших к равнине, где раскинулся город. Только этой дорогой могли мы выйти в сельскую местность.

Продвигались мы вперед медленно. Женщины

и дети не могли идти быстрее. Они не умели ходить так, как люди ходят теперь. Да, в сущности, мы совсем не умели ходить. Я и сам научился только после чумы. Поэтому всем приходилось равняться на самого слабого, а разбиться на группы мы не решались из-за грабителей. Их, правда, становилось меньше, этих зверей в человеческом облике: многих скосила чума, — но все же повсюду еще порядочно шныряло банд. По пути нам попадалось немало прекрасных особняков, но гораздо чаще глазу открывались дымящиеся руины. Впрочем, бандиты, казалось, утолили свою безумную жажду уничтожения и реже поджигали теперь дома.

Мы осматривали частные гаражи в надежде найти исправный автомобиль или горючее. Поиски наши не увенчались успехом. Беженцы захватили все средства передвижения. Около одного такого гаража мы потеряли Калгэна, чудесного юношу: его подстрелили, когда он шел через лужайку. Это был единственный убитый среди нас, хотя в другой раз какой-то пьяный негодяй совершенно неожиданно открыл по нам огонь. К счастью, он палил не целясь, и мы прикончили его, прежде чем он ранил кого-нибудь.

Когда мы проходили Фрутвейл, район богатых

особняков, чума снова задела нас. Жертвой оказался профессор Фэрмид. Сделав нам знак, чтобы мы молчали и ничего не говорили его матери, он свернул в сторону, во двор красивого дома. Там он опустился на ступеньку передней веранды, а я, задержавшись, помахал ему на прощание рукой. В ту ночь мы разбили лагерь за Фрутвейлом, хотя все еще в пределах города. У нас умерло несколько человек, и мы дважды меняли место стоянки, чтобы не находиться подле мертвецов. К утру осталось тридцать человек. Никогда не забуду, с каким мужеством вел себя декан факультета. Во время утреннего перехода у его жены, которая шла пешком, появились признаки рокового заболевания. Когда она отступила на обочину, чтобы дать нам пройти, он хотел выйти из машины и остаться с женой. Мы воспротивились, но он стал настаивать, и в конце концов мы уступили. Ибо кто из нас мог с уверенностью сказать, что ему самому удастся спастись!

На вторую ночь нашего похода мы сделали привал за Хейуардом, как раз там, где кончался город. Наутро в живых осталось только одиннадцать человек. В довершение бед ночью сбежал на автомобиле Уотроп, преподаватель с раненой ногой. Он взял свою сестру, мать и прихватил из-

рядную долю консервов. И вот в тот день, отдыхая у дороги, я в последний раз увидел воздушный корабль. Дым здесь был гораздо реже, чем в городе, и в ту минуту, когда я увидел корабль на высоте примерно двух тысяч футов, он потерял управление, и его начало сносить в сторону. Не знаю, что там случилось, но буквально на наших глазах нос дирижабля стал рывками опускаться книзу. Затем, по-видимому, лопнули переборки газовых камер, корпус занял вертикальное положение, и дирижабль камнем пошел вниз. С тех пор я не видел ни одного воздушного корабля. Сколько раз впоследствии я подолгу вглядывался в небо в тщетной надежде увидеть аэроплан или дирижабль — знак того, что в мире где-то сохранилась цивилизация! Но увы, все напрасно. То, что случилось с нами, случилось, наверное, повсюду.

На другой день, к тому времени когда мы достигли Найлса, нас осталось всего трое. За Найлсом посреди шоссе мы увидели Уотропа. Автомобиль был разбит, на полости, разостланной на земле, лежали трупы Уотропа, его сестры и матери.

Непривычный к ходьбе, я смертельно устал и уснул в ту ночь крепким сном. Утром я обнаружил, что остался один. Кэнфилд и Парсонс,

мои последние спутники, умерли от чумы. Из четырехсот человек, которые искали убежища в здании химического факультета, и из сорока семи, которые вышли в поход, выжил я один, я и шотландский пони. Не знаю, почему так случилось, но факт остается фактом. Я не заразился чумой. Мой организм оказался невосприимчивым к ней. Просто-напросто мне повезло, мне, одному из миллионов, — ведь после чумы из миллиона, вернее, из нескольких миллионов, да, да, из нескольких миллионов человек в живых остался только один!

V

В течение двух дней я укрывался в красивой рощице, которой не коснулось дыхание смерти. Несмотря на подавленное состояние, я был убежден, что в любой момент настанет мой черед, — я отдохнул за это время и набрался сил. Пони тоже окреп, так что на третий день я погрузил на него небольшой запас консервов, который у меня остался, и отправился в путь. Я не встретил ни одного живого человека, ни взрослого, ни ребенка, зато мертвые попадались на каждом шагу. Пищи, к счастью, было достаточно. Земля теперь не такая, как раньше. Тогда ее расчищали от деревьев и кустарника и возделывали. Вокруг меня росло, набиралось соков и пропадало то, чем можно было бы накормить миллионы ртов. На полях и в садах я собирал овощи, фрукты, ягоды. На опустевших фермах ловил кур и доставал яйца. В кладовых нередко находил консервы.

Удивительные превращения происходили с домашними животными. Они постепенно дичали и начинали охотиться друг на друга. Хуже всего пришлось курам и уткам. Свиньи одичали первыми, а за ними кошки. Собаки тоже быст-

ро приспособились к изменившимся условиям существования, и сколько их развелось! Они пожирали трупы, по ночам выли и лаяли, а днем шмыгали по укромным местам. Я замечал, как постепенно менялись их повадки. Поначалу собаки держались по отдельности — настороженные, готовые вот-вот вцепиться друг другу в глотку. Но скоро они стали сходиться в стаи. Ведь собака всегда была общественным животным — даже до того, как ее приручил человек. Перед чумой было очень много разных пород собак: короткошерстые и с густым, теплым мехом, совсем крохотные и огромные — точно кугуары, которые без труда могли проглотить их. Так вот, маленькие и слабые собаки гибли от клыков своих собратьев. Вывелись и очень крупные, не приспособленные к дикой жизни. Различия между породами исчезли, и теперь стаями водятся лишь те собаки, которых вы видите, — похожие на волков.

— Но ведь кошки не водятся стаями? — возразил Хоу-Хоу.

— Кошка никогда не была общественным животным. Кошка гуляет сама по себе, как писал один автор в девятнадцатом веке. Кошка всегда гуляла сама по себе: и тогда, когда ее приручил человек, и потом, когда веками одомашнивал ее, и

теперь, когда она снова стала диким животным.

Лошади тоже одичали, и все великолепные, выведенные человеком породы выродились в теперешних низкорослых мустангов. Одичали коровы, голуби, куры. Куры водятся и сейчас, но совсем не те, какие были прежде.

…Я, кажется, отвлекся?.. Я брел словно по пустыне. Шло время, и я начал тосковать по людям. Но мне никто не попадался на пути, и я чувствовал себя все более и более одиноким. Я пересек долину Ливермор и горную цепь, которая отделяет ее от другой, очень большой долины Сан-Хоакин. Вы не бывали там, но это очень большая долина, где водятся дикие лошади. Они ходят огромными, тысячными табунами. Я сам видел их, когда побывал там еще раз тридцать лет спустя. Вот вы считаете, что здесь, на побережье, много лошадей, но это ничто по сравнению с Сан-Хоакином. И еще одна любопытная вещь: одичавшие коровы перебрались на горные склоны. Там им, вероятно, было легче защищаться от врагов.

В сельских местностях грабители и мародеры бесчинствовали меньше, чем в городах, ибо мне попалось много ферм и поселений, не тронутых пожарами. Но трупы, распространяющие заразу,

виднелись повсюду, так что я шел нигде не останавливаясь подолгу. Мне было так тоскливо, что около Лейтропа я подобрал двух шотландских овчарок; они настолько отвыкли быть свободными, что были рады снова подчиняться человеку. Эти овчарки на долгие годы стали моими верными спутниками, и капля их крови есть даже в ваших собаках, мальчики. Но сама порода эта за шестьдесят лет совсем вывелась. Эти псы — скорее одомашненные волки.

Заячья Губа, уставший от долгого повествования, поднялся на ноги, посмотрел на стадо коз, потом прикинул положение солнца на небе. Эдвин попросил старика рассказывать поскорее, и тот продолжал:

— Осталось совсем немного… Верхом на лошади, которую мне удалось поймать, и в сопровождении двух овчарок и пони я пересек Сан-Хоакин и направился к чудеснейшей Йосемитской долине в горах Сьерры-Невады. Там в огромном отеле я нашел большой запас консервов. Кроме того, всюду были тучные пастбища, множество дичи и в реке, что протекала через долину, полным-полно форели. Я прожил там в полнейшем одиночестве три года. Что это значит, может понять только цивилизованный человек. Потом

я не выдержал. Я чувствовал, что сойду с ума. Человек, как и собака, — общественное животное, он не может существовать один. Если я выжил, то, значит, выжил кто-нибудь еще, рассуждал я. К тому же за три года чумные микробы наверняка погибли и земля очистилась от скверны.

Верхом на лошади, прихватив овчарок и пони, я отправился в обратный путь. Снова пересек Сан-Хоакин, перевалил через кряж, спустился в долину Ливермор и поразился переменам. Я не узнал здешних мест: превосходно обработанные поля и сады сплошь поросли сорняками. Ведь люди так старательно выхаживали пшеницу, овощи и плодовые деревья, что они стали нежными и слабыми, а сорная трава и дикий кустарник были неприхотливыми и привыкли сопротивляться человеку. И вот когда люди перестали обрабатывать землю, они заглушили культурные растения. Во множестве расплодились койоты, и тут я впервые встретил волков — парами, по трое, небольшими стаями спускались они с холмов, где жили прежде.

И вот у озера Темескал, недалеко от того места, где некогда стоял Окленд, я наконец встретил живых людей. Мальчики, как вам описать мое волнение, когда верхом на лошади, спускаясь с

холма к озеру, я увидел между деревьями дымок от костра! Сердце у меня замерло. Я думал, что сойду с ума от радости. Потом я услышал плач младенца, понимаете, живого младенца!

Тут же залаяли собаки, и мои овчарки залаяли тоже. Я настолько привык к мысли, что я единственный, кто пережил чуму, что не мог поверить ни в дымок, ни в детский плач.

И вдруг там, на берегу озера, футах в ста от себя, я увидел рослого мужчину. Он стоял на камне, торчавшем из воды, и удил рыбу. Я не мог побороть волнения. Я остановил лошадь и хотел крикнуть, но не сумел. Тогда я помахал рукой. Мне показалось, что человек посмотрел в мою сторону, но он не помахал мне в ответ. Не сходя с лошади, я опустил голову и зажмурился. Я боялся посмотреть туда снова, ибо знал, что это только мираж, что открой я глаза — и человек исчезнет. Но так дорого было мне это видение, что я не хотел, чтобы оно пропадало. И оно не пропадет, я знал это, пока я не открою глаза!

И я сидел так, опустив голову, пока не услышал ворчание собак и мужской голос. Как вы думаете, что он произнес, этот голос? Я скажу вам. Он произнес: «Откуда вы взялись, черт вас побери?» Вот какими словами твой второй дед, Заячья Губа,

приветствовал меня на берегу озера Темескал пятьдесят семь лет тому назад. Нет, это ни за что не передать! Я открыл глаза — передо мной стоял рослый, загорелый, обросший волосами человек с тяжелой челюстью, низким лбом и свирепыми глазами. Я не помню, как спешился. Знаю только, что в следующее же мгновение я схватил обеими руками его за руку и зарыдал. Я обнял бы его, если бы он не отодвинулся: он всегда был угрюмым, недоверчивым человеком. И тем не менее я рыдал и не отпускал его руку.

Голос деда дрогнул и осекся от нахлынувших воспоминаний, а по щекам покатились старческие слезы. Мальчишки смотрели на него и посмеивались.

— Да, я рыдал и хотел обнять его, хотя Шофер был негодяем, бесчувственным животным. Я не встречал человека отвратительнее. Звали его… Постойте, как же его звали? Я, кажется, забыл, странно!.. Впрочем, все звали его Шофером. Так называлась его профессия, и эта кличка пристала к нему. Вот почему племя, которое он основал, до сих пор называется племенем Шофера.

Он был крайне злой и бесчестный человек. Понять не могу, почему чума пощадила его. Несмотря на все наши метафизические представ-

ления об абсолютной справедливости, в мире, казалось, нет никакой справедливости. Почему выжил именно он, моральный урод, грязное пятно на лике природы и ко всему прочему такой подлый мошенник, каких свет не видывал? Он способен был разговаривать только об автомобилях, моторах, бензине, гаражах; с особым удовольствием рассказывал он, как водил за нос и нагло обирал людей, у которых он служил, перед тем как вспыхнуть чуме. И вот, несмотря на все, ему суждено было уцелеть, тогда как погибли сотни миллионов, да нет, миллиарды людей, которые были лучше его!

Мы отправились с Шофером в его становище. И вот там-то я увидел Весту, ту самую Весту. Это было великолепно и… горько до слез. Веста Ван Уорден, молодая жена Джона Ван Уордена, одетая в лохмотья, склонилась над костром и мозолистыми, покрытыми ссадинами руками размешивала какое-то варево — та самая Веста, которой от рождения было назначено владеть самым большим в истории человечества состоянием. Ее муж, Джон Ван Уорден, стоивший один миллиард восемьсот миллионов долларов, был Президентом Правления Промышленных Магнатов и правил Америкой. Кроме того, он был

членом Международного Комитета Контроля, то есть одним из семи человек, которые правили миром. Да и сама Веста — из такой же благородной семьи. Ее отец, Филипп Сэксон, был Президентом Правления Промышленных Магнатов вплоть до своей смерти. Этот пост сделался почти наследственным, и, будь у Филиппа Сэксона сын, он стал бы его преемником. Но у него был единственный ребенок, Веста, редчайший цветок, созданный веками самой высшей, какие знала наша планета, культуры. После того как было объявлено о помолвке Весты и Ван Уордена, Сэксон назначил будущего зятя своим преемником. То был, разумеется, сугубо политический брак. Наподобие тех, что практиковались среди венценосных особ, до того как их сменили у власти Магнаты. У меня есть основания полагать, что Веста никогда не любила своего мужа той безумной, страстной любовью, которую воспевали поэты.

И вот эта самая Веста варит в закопченном чугунке какую-то рыбную похлебку, и прекрасные глаза ее воспалены от едкого дыма! Да, нелегко ей пришлось! Она была единственной выжившей из миллиона, так же, как я и Шофер. В свое время над самым заливом Сан-Франциско, на живописнейшем холме близ Аламеды, Ван Уорден

построил роскошную летнюю резиденцию. Дом окружал огромный, в тысячу акров, парк. Туда-то он и отправил свою жену, когда вспыхнула чума. Парк охранялся вооруженными стражниками, поэтому ничто, ни провизия, ни даже письма, не попадало в дом, не пройдя дезинфекцию. И все-таки зараза проникла в резиденцию, поражая стражников на посту, слуг за работой и великое множество приближенных, по крайней мере тех, кто не сбежал, — да и те, кто сбежал, все равно погибли. Веста осталась единственным живым человеком во всем дворце, который превратился в настоящий морг.

Шофер был из тех, кто сбежал. Два месяца спустя он вернулся и обнаружил, что Веста укрылась в летнем павильоне, где находилась в полной безопасности. Шофер был точно дикий зверь. Веста спряталась среди деревьев и в ту же ночь ушла пешком в горы — она, чьи изящные ножки никогда не ступали по острым камням и чьей нежной кожи не касались колючки шиповника. Он кинулся за ней и настиг в ту же ночь. Этот негодяй ударил ее, можете себе представить? Избил своими здоровенными кулачищами и сделал рабыней. Той, что ни разу в жизни не запачкала рук, приходилось теперь собирать

хворост, раскладывать костер, стряпать и вообще выполнять всю черную работу. Шофер заставлял ее трудиться в поте лица, а сам, как настоящий дикарь, валялся на траве и глазел на нее. Он не желал ничего делать, за исключением тех редких случаев, когда отправлялся на охоту или рыбную ловлю.

— Ну и правильно! — заметил вполголоса Заячья Губа мальчишкам. — Я хорошо его помню. Дядька что надо! Все прибрал к рукам, и его отчаянно боялись. Отец женился на его дочери. И посмотрели бы, какие Шофер ему взбучки давал! Злой, как черт, был. Мы у него по струнке ходили. Даже когда умирал, приподнялся и в кровь расшиб мне голову своей длинной палкой — всегда ее при себе держал.

Заячья Губа в задумчивости потер круглую голову, и мальчишки снова повернулись к старику, который восторженно расхваливал Весту, принадлежавшую основателю племени Шофера.

— Вы даже представить себе не можете, до чего чудовищно все сложилось! Шофер был слуга, понимаете, простой слуга. Он пресмыкался перед людьми ее круга. А она — властительница как по рождению, так и по браку. В ее маленькой нежно-розовой ладони умещались судьбы миллионов

таких, как он. В мои времена малейшее общение с людьми, подобными Шоферу, осквернило бы Весту. Я хорошо это знаю. Помню один случай. Миссис Голдвин, супруга одного из Магнатов, собираясь подняться по трапу в собственный дирижабль, уронила зонтик. Слуга совершил непростительный промах: он поднял зонтик и подал его самой миссис Голдвин, одной из самых знатных леди мира! Она отпрянула от слуги, как от прокаженного, и подала секретарю знак взять зонтик. Она тут же приказала узнать имя невежды и проследить, чтобы ему немедленно отказали от места. Такой же была и Веста Ван Уорден. А Шофер сделал ее своей рабыней и издевался над ней.

...Вспомнил! Билл, Шофер Билл — вот как его звали! Грубое, тупое существо, лишенное какого бы то ни было благородства, не знающее великодушных побуждений, свойственных культурному человеку. Нет, абсолютной справедливости не существует, иначе не досталось бы такому негодяю то чудо из чудес, каким была Веста Ван Уорден. Мальчики, вам не понять трагизма положения, ведь вы и сами грубые маленькие дикари, не знающие ничего, помимо своей дикой жизни! Почему Веста не стала моей? Я человек

утонченной культуры, профессор большого университета. И, несмотря на это, она не снизошла бы до знакомства со мной — такое высокое положение она тогда занимала! Так вообразите всю глубину унижения, которое она претерпела, попав в руки Шоферу. И если бы не крах цивилизации, никогда я не познакомился бы с ней, не смел бы смотреть ей в глаза, разговаривать с ней и касаться ее руки и… любить, да, да, любить и знать, что она отвечает мне взаимностью. Я верю, знаю: она даже полюбила бы меня — ведь подле нее не было другого мужчины, кроме Шофера. Почему чума, погубив восемь миллиардов человек, не убила еще одного — Шофера?

Однажды, когда Шофер ушел удить рыбу, она стала умолять меня убить его. Она молила меня со слезами на глазах. Но я боялся, боялся его ярости, силы. После, правда, у нас был разговор. Я предлагал ему свою лошадь, пони, овчарок, все, чем владел, лишь бы он отдал мне Весту. Но он только смеялся мне в лицо и мотал головой. Он оскорблял меня. Он заявил, что прежде был Слугой, им помыкали мужчины вроде меня и такие женщины, как Веста, а теперь самая знатная дама на земле прислуживает ему, стряпает пищу и нянчит его ублюдков. «Ваше времечко

было до чумы. А нынче мое времечко, и неплохое, вот так-то! Ни за какие деньги не соглашусь вернуть прошлое!» Так он сказал, хотя не такими в точности словами. С уст этого негодяя то и дело срывалась отвратительная брань.

И еще он предупредил меня, что оторвет мне голову и задаст Весте взбучку, если заметит, что я заглядываюсь на нее. Что мне оставалось делать, я же боялся его! Он был как дикий зверь. В тот вечер, когда я набрел на их стоянку, мы с Вестой долго вспоминали о нашем исчезнувшем мире. Мы говорили об искусстве, книгах, стихах, а Шофер слушал и глупо ухмылялся. Его очень скоро утомил и разозлил наш разговор, в котором он не понимал ни слова, и тогда он встал и заявил: «Видите Весту Ван Уорден? Заносчивая была красавица и важная птица — жена Магната Ван Уордена. А теперь она моя женщина. Да, профессор Смит, времена изменились, сильно изменились! Эй, женщина, сними-ка с меня мокасины, да поживей! Я хочу, чтобы профессор Смит знал, как я тебя вышколил!»

Я видел, как Веста прикусила губу, а в ее глазах зажегся огонек ненависти. Он замахнулся своим узловатым кулачищем, и я испугался. Я не мог бы одолеть его. Поэтому я встал, чтобы уйти, не

быть свидетелем подобного унижения. Но Шофер захохотал и пригрозил поколотить меня, если я не останусь. И я вынужден был сесть и смотреть, как у костра на берегу озера Темескал Веста Ван Уорден встала на колени и принялась стягивать мокасины с ног ухмыляющейся волосатой обезьяны.

…Нет, мальчики, вам не понять этого! Вы ничего не видели и ничего не знаете. Вам не понять!

«И к узде приучена и к седлу, — посмеивался Шофер, пока Веста выполняла его ужасное и унизительное приказание. — Иногда артачится, шалит, знаете ли. Но разок двинешь ей в морду, и снова как ягненок».

А в другой раз он сказал мне: «Нам надо начинать все сначала: плодиться и заселять землю. Вам просто не повезло, профессор. У вас нет женщины, а дело у нас тут обстоит так же, как в райских кущах. Но я не гордый, и вот что вам скажу. — Он показал на крохотную, чуть побольше годика, девчурку. — Вот вам жена! Конечно, придется подождать, пока она подрастет. Здорово, правда? Мы здесь все одинаковы, но сила-то у меня. И все-таки я не задаюсь: не по мне это. Профессор Смит, я оказываю вам честь, большую честь. Я согласен на помолвку нашей дочери,

дочери Шофера и Весты Ван Уорден, с вами! Эх, дьявол побери, посмотрел бы Ван Уорден!»

VI

Три недели промучился я в становище Шофера. То ли я просто-напросто надоел ему, то ли ему показалось, что я дурно влияю на Весту, но, так или иначе, однажды он рассказал, что год назад, пробираясь холмами Контра-Коста к проливу Каркинез, он видел за проливом дымок. Это означало, что там обитали люди. А он три недели скрывал от меня это бесценное сведение. Я немедленно отправился в путь со своими лошадьми и овчарками и, пройдя холмы Контра-Коста, вышел к заливу. Я не увидел на другом берегу никакого дыма, но в Косте обнаружил небольшую барку, куда погрузил своих животных. Из куста старой парусины я соорудил парус, и южный бриз погнал барку через залив к развалинам Валлехо. На окраине города мне попались следы недавней стоянки. По множеству раковин съедобных моллюсков я понял, почему эти люди пришли на побережье. Как выяснилось впоследствии, это было племя Санта-Роса. Я двинулся за ними в долину Сонома через соляные топи, вдоль железнодорожного пути. Там, у разрушенного кирпичного завода в Глен-Эллен, я наткнулся на стоянку. Их

было восемнадцать человек. Среди них — двое стариков: один — банкир Джонс, другой — удалившийся от дел владелец ломбарда Гаррисон. Последний взял себе в жены сестру-хозяйку психиатрической больницы в городе Напа. Из всего населения Напа и окрестных поселений и ферм в этой некогда многолюдной и плодородной долине выжила одна она. В племени были трое мужчин помоложе: Кардиф и Хейл — фермеры и Уэйнрайт — простой батрак. Каждый из них имел жену. Хейлу, простоватому и необразованному фермеру, досталась Исидора — самая прекрасная после Весты женщина, пережившая чуму. Она считалась одной из знаменитейших певиц в мире. Эпидемия застала ее в Сан-Франциско. Она часами рассказывала мне о своих странствиях и приключениях, которые кончились, когда в лесном заповеднике Мендосино ее подобрал Хейл, и ей не оставалось ничего иного, как стать его женой. Хейл, по счастью, оказался неплохим человеком, хотя и был необразованный фермер. Он обладал острым чувством справедливости и необыкновенной честностью. Исидоре было с ним несравненно лучше, чем Весте с Шофером.

Жены у Кардифа и Уэйнрайта были женщины из народа, с крепким сложением, привыкшие к

труду, — тип, наилучшим образом приспособленный к условиям дикой жизни, которую им приходилось вести. Кроме того, в племени были двое умалишенных из сумасшедшего дома в Элдредже и пять-шесть ребятишек и младенцев, появившихся на свет уже после образования племени. И была еще Берта, совсем неплохая женщина, — ты слышишь, Заячья Губа? — хотя твой отец и прохаживался на ее счет. Я взял ее в жены. Она мать твоего отца, Эдвин, и твоего тоже, Хоу-Хоу. А наша дочь Вера вышла замуж за отца Заячьей Губы, Сэндоу, который был старшим сыном Весты Ван Уорден и Шофера.

Так я стал девятнадцатым членом племени Санта-Роса. После меня к племени пристали только двое чужаков. Один — Мангерсон, потомок Магнатов, восемь лет бродил по лесам Северной Калифорнии, прежде чем отправился на юг и встретил нас. Это ему пришлось ждать двенадцать лет, пока подрастет моя дочь Мери, чтобы жениться на ней. Другого звали Джонсон — он основал племя Юта. Он ведь пришел к нам из Юты, страны, которая лежит очень далеко на востоке, за бескрайними пустынями. Он добрался до Калифорнии через двадцать семь лет после эпидемии. Он рассказывал, что в Юте выжило

только трое, включая его самого, — и все мужчины. Много лет они охотились вместе и наконец впали в отчаяние, ибо боялись, что с их смертью прекратится на земле человеческий род. Поэтому они двинулись на запад в надежде найти в Калифорнии женщин. Только Джонсону удалось пробраться через великую пустыню: двое его спутников погибли в пути. Когда он встретил нас, ему было уже сорок шесть лет. Он женился на четвертой дочери Исидоры и Хейла, а старший сын его женился на твоей тетке, Заячья Губа, на третьей дочери Весты и Шофера. Джонсон был сильный, волевой человек. Поэтому он отделился от Санта-Росов и образовал в Сан-Хосе племя Юта. Совсем небольшое племя — всего девять человек. Джонсон умер, но благодаря его былому влиянию и здоровому потомству племя Юта станет сильным племенем и сыграет ведущую роль в возрождении цивилизации на земле.

Нам известны еще только два племени: Лос-Анжелиты и Кармелиты. Кармелиты пошли от одного мужчины и одной женщины. Мужчину звали Лопес, кожа у него была смуглая, потому что дальние предки его были древние мексиканцы. Он был пастухом на скотоводческих ранчо за Кармелом, а его жена — горничная в большом

отеле в Дель-Монте. Семь лет мы ничего не знали о существовании Лос-Анжелитов. У них там хороший край, правда, слишком жарко. Я полагаю, что теперешнее население земли составляет триста пятьдесят — четыреста человек, если, разумеется, не обитают еще где-нибудь крохотные племена. Но мы о них, во всяком случае, не знаем. С тех пор как Джонсон пришел к нам из Юты, мы не имеем никаких сведений ни с востока, ни из других мест. Тот огромный мир, который я знал во времена своего детства и молодости, исчез. Он перестал существовать. Я последний свидетель Алой смерти, и только мне известны чудеса того давно ушедшего мира. Люди, которые были всемогущи, как боги, и владели землей, небесами и морями, ведут теперь первобытный образ жизни на берегах калифорнийских рек.

У нас рождается много детей. Вот, к примеру, у твоей сестры, Заячья Губа, их уже четверо. Людей становится больше, и они снова готовятся к восхождению на вершины цивилизации. Настанет время, когда людям станет здесь тесно, и они начнут расселяться, и можно ожидать, что через несколько сотен поколений наши далекие потомки постепенно перевалят через Сьерра-Неваду и с каждым новым поколением будут продвигаться

по нашему великому континенту на восток, заселяя все новые и новые земли. Опять начнутся великие переселения арийских народов.

Но это будет происходить медленно, очень медленно: слишком много предстоит сделать. События отбросили нас далеко назад. Если бы остался в живых хоть один физик или химик! Но они погибли, а мы перезабыли все, что знали. Шофер начал, правда, обрабатывать железо. Он смастерил кузнечный горн, которым мы пользуемся до сего времени. Но он был ленив и, когда умер, унес с собой в могилу все, что знал о металлах и машинах. А мне откуда было знать о таких вещах? Мое дело — классическая философия, а не химия. Шофер научил нас только двум вещам: варить огненный напиток и выращивать табак. И однажды, напившись, он убил Весту. Я убежден, что он убил Весту в приступе пьяной жестокости, хотя он всегда утверждал, что она упала в озеро и утонула.

Мальчики, я дам вам один совет: берегитесь знахарей. Они называют себя *докторами,* принижая благородную некогда профессию. На самом же деле они знахари, шаманы, играющие на предрассудках и невежестве. Обманщики и шарлатаны — вот кто они такие. А мы так опу-

стились, что верим их выдумкам. Их становится все больше так же, как и нас, — они попытаются подчинить нас себе. Так что помните: они обманщики и шарлатаны. Посмотрите, например, на Косоглазого. Он хоть и молод, но уже называет себя доктором. Он продает снадобья от болезней, обещает удачную охоту и хорошую погоду — за мясо и шкуры, посылает людям черную палку, означающую смерть, и творит тысячу иных мерзостей. Он говорит, что все может, а я утверждаю, что он лжет. Я, профессор Джеймс Говард Смит, утверждаю, что он лжет. Я говорил это ему в глаза. Почему он не послал мне черную палку? Да потому, что на меня его заклинания не действуют, и он отлично знает это. А вот ты, Заячья Губа, настолько погряз в суевериях, что умрешь от страха, если, проснувшись вдруг ночью, найдешь подле себя такую палку. И ты умрешь не от каких-то особых свойств черной палки, а потому, что ты дикарь, невежественный, темный дикарь!

Знахарей надо уничтожать и открывать заново те знания, которые люди утратили. Поэтому я снова повторяю вам то, что вы должны всегда помнить и передать своим детям. Вы должны рассказать им, что, когда огонь нагревает воду, в ней появляется удивительная вещь, которая

называется паром. Пар сильнее, чем десять тысяч человек, и может делать за них всю работу. В вспышке молнии таится такой же сильный слуга человека, издавна верный раб его, который снова должен стать его рабом.

Совсем иная штука — алфавит. С помощью алфавита я знаю, что означают особые маленькие знаки, тогда как вы, мальчики, знаете только примитивное пиктографическое письмо. В сухой пещере на Телеграф-Хилл, куда я захожу, когда наше племя спускается к морю, я спрятал много книг. В них великая мудрость. Там же есть и ключ к алфавиту, так что человек, знающий пиктографическое письмо, может научиться читать книги. Когда-нибудь люди снова будут уметь читать, и, если ничего не случится с пещерой, они узнают, что некогда жил профессор Джеймс Говард Смит, который сохранил для них мудрость древних.

Еще существовало одно хитрое вещество, которое люди неизбежно откроют снова. Оно называется порохом. С помощью пороха мы убивали на больших расстояниях и наверняка. В земле имеются некоторые вещества, их смешивают в определенном соотношении, и тогда получается порох. Я забыл, что это за вещества, а может быть, никогда и не знал. И очень сожалею

об этом. Если бы я знал, я сделал бы порох, и убил бы Косоглазого, и спас людей от суеверий…

— Когда я вырасту, я отдам Косоглазому всех коз, и мясо, и шкуры, которые я добуду, чтобы он научил меня, как стать доктором! — заявил Хоу-Хоу. — И тогда все будут уважать меня и слушаться. Люди будут кланяться мне.

Старик грустно кивнул головой и пробормотал:

— Странно слышать остатки сложных форм арийской речи из уст грязного маленького дикаря, одетого в звериные шкуры! Мир опрокинулся вверх дном. И причиной всему чума.

— А я не стану тебя слушаться, — гордо сказал Заячья Губа будущему знахарю. — Если я заплачу тебе, чтобы ты послал кому-нибудь черную палку, а он не умрет, я убью тебя; запомни это, Хоу-Хоу!

— А я сделаю так, чтобы дед вспомнил вещества, из которых приготовляется порох, — сказал Эдвин негромко. — И тогда подчиню себе всех вас. Ты, Заячья Губа, будешь сражаться за меня и добывать мясо, а ты, Хоу-Хоу, по моему приказанию станешь посылать черную палку, чтобы меня боялись. Если Заячья Губа попробует убить меня, я прикончу его этим порохом. Нет, дед не такой глупец, как вы думаете, и я буду слушать

его рассказы и когда-нибудь стану главным над вами!

Старик печально покачал головой:

— Снова изобретут порох. Это неизбежно: история повторяется. Люди будут плодиться и воевать. С помощью пороха они начнут убивать миллионы себе подобных, и только так, из огня и крови, когда-нибудь в далеком будущем возникнет новая цивилизация. Но что толку? Как погибла прежняя цивилизация, так погибнет и будущая. Потребуется, может быть, пятьсот тысяч лет, чтобы построить ее, но, так или иначе, она погибнет. Все погибает и проходит. Не исчезнут только космическая сила и материя — они вечно движутся, взаимодействуют и создают три непреходящих типа: священника, солдата и правителя. Устами младенцев глаголет истина веков. Одни будут сражаться, другие — молиться, третьи — править, а остальные — большинство — трудиться в поте лица и страдать, и на их кровоточащих трупах снова и снова будут воздвигать то необыкновенное, чудесной красоты здание, которое называется цивилизованным государством. Оно будет расти, несмотря ни на что; даже если не сохранятся спрятанные в пещере книги, люди все равно откроют старые истины и

начнут поклоняться старой лжи и учить тому же своих детей. Что толку?..

Заячья Губа вскочил на ноги и, быстро оглядев пасущихся коз, посмотрел на заходящее солнце.

— Старик с каждым днем становится все болтливее, — сказал он Эдвину. — Пошли в становище!

Хоу-Хоу и Заячья Губа позвали собак, сбили коз в стадо и погнали их к лесной тропе, а Эдвин остался со стариком и помог ему идти. Когда они добрались до железнодорожной насыпи, Эдвин остановился и посмотрел назад. Заячья Губа и Хоу-Хоу с козами и собаками пошли дальше. Эдвин смотрел на диких лошадей, спустившихся с холмов на песчаный берег. Табун был небольшой, десятка два голов — жеребята, годовики, взрослые кобылицы, а у самой воды в пене прибоя стоял великолепный жеребец, — выгнув шею и поводя блестящими дикими глазами, он принюхивался к соленому запаху моря.

— Что там? — спросил дед.

— Лошади, — отвечал мальчик. — В первый раз вижу их на берегу. В горах развелось много кугуаров, и лошади идут сюда.

Солнце склонялось к горизонту, затянутому беспорядочной грядой облаков, и красные лучи

его веером расходились по небу. А из белой пены разбивающихся о берег волн выползали на черные камни морские львы; они играли, дрались, любили и пели свою песнь, как и тысячи веков назад.

— Пойдем, дед, — позвал Эдвин.

И они зашагали вдоль полотна в лес вдогонку за стадом — одетые в шкуры, — старик и мальчишка.

До Адама

Глава I

Видения! Видения! Видения! Пока я не понял, в чем дело, как часто я спрашивал себя, откуда идет эта бесконечная вереница видений, которые тревожат мой сон, — ведь в них не было ничего такого, что напоминало бы нашу реальную, повседневную жизнь. Они омрачали мое детство, превращая сон в страшные кошмары, а немного позднее внушив мне уверенность, что я не похож на других людей, что я какой-то урод, отмеченный проклятием.

Только днем я чувствовал себя в какой-то мере счастливым. Ночью же я оказывался в царстве страха — и какого страха! Я отважился бы сказать, что ни один живущий ныне человек не испытывал такого жгучего, такого глубокого страха. Ибо мой страх — это страх, который царил в давно минувшие времена, страх, который свободно разгуливал в Юном Мире и гнездился в душе юноши Юного Мира. Короче говоря, тот страх, что был непререкаемым владыкой в те века, которые носят название среднего плейстоцена.

Что я имею в виду? По-видимому, мне необходимо объяснить это, прежде чем я перейду к

рассказу о своих сновидениях. Ведь о том, что прекрасно знаю я, вам известно так мало! В то время, как я пишу эту страницу, передо мною встают причудливые картины того, другого мира, проходит череда живых существ и событий — все это, я знаю, покажется вам бессмысленным и бессвязным.

Что значит для вас дружба с Вислоухим, обаяние и прелесть Быстроногой, разнузданная похоть и дикость Красного Глаза? Несуразные, пустые звуки, не более. Столь же пустыми звуками вам покажутся и рассказы о Людях Огня и Лесной Орде, о шумных, лопочущих сборищах Племени. Ибо вам неведом ни покой прохладных пещер в утесе, ни очарование тропы у водопоя по вечерам. Вы никогда не испытывали, как хлещет утренний ветер на вершинах деревьев, как сладка молодая кора, когда ее разжуешь хорошенько.

Быть может, вам будет легче вникнуть в суть дела, если я начну с описания своего детства — собственно, ведь именно детство и поставило лицом к лицу со всем этим меня самого. Мальчишкой я был, как все другие мальчишки, — если речь идет, конечно, о дне. Другим, не похожим на них, я был по ночам. С тех самых пор, как я помню себя, время ночного сна всегда

было для меня временем страха. Редко-редко в мои сновидения прокрадывалось что-нибудь радостное. Как правило, они были полны страха, страха столь необычного, дикого, небывалого, что осмыслить этот страх было невозможно. Ни разу в моей дневной жизни не ощущал я такого страха, который бы хоть чем-то походил на страх, владевший мною во время сна по ночам. Это был совсем особый, таинственный страх, выходящий за пределы моего жизненного опыта.

Скажу к примеру, что я родился в городе, — более того, я был истинным дитятей города, деревня была для меня неведомым царством. Но мне никогда не снились города, ни разу не приснился даже простой дом. Мало этого, — в круг моих ночных видений никогда не вторгалось ни одно существо, подобное мне, ни один человек. С деревьями я сталкивался в жизни только в парках да в иллюстрированных книжках, а во сне я странствовал среди бесконечных девственных лесов. И я видел эти леса совершенно живыми. Остро и отчетливо представало передо мной каждое дерево. У меня было такое ощущение, что с этими деревьями я знаком давным-давно и сроднился с ними. Я видел каждую ветку, каждый сучок, примечал и знал каждый зеленый листик.

Хорошо помню, как я впервые в дневной жизни столкнулся с настоящим дубом. Глядя на узловатые ветви и резную листву, я с мучительной ясностью почувствовал, что точно такие же деревья я несчетное число раз видел во сне. Поэтому позже я уже не удивлялся, когда с первого взгляда узнавал и ель, и тисс, и березу, и лавр, хотя до тех пор мне не доводилось их видеть. Ведь я видел их когда-то раньше, я видел их каждую ночь, как только погружался в свои сновидения.

Все это, как вы заметили, противоречит первейшей закономерности сновидений, которая гласит, что человеку снится лишь то, что он видел в этой жизни. Мои сновидения такой закономерности не подчинялись. В своих снах я ни разу не видел ничего такого, что имело бы касательство к моей дневной жизни. Моя жизнь во сне и моя жизнь, когда я бодрствовал, шли абсолютно раздельно, не имея между собой ничего общего, кроме разве того, что тут и там действовал тот же самый я. Я был связующим звеном, я как бы жил и в той и в другой жизни.

С малых лет я усвоил, что орехи добывают в бакалейной лавке, ягоды у торговца фруктами, но, прежде чем это стало мне известным, во сне я уже срывал орехи с веток или подбирал их на земле

под деревьями и тут же ел; таким же образом я добывал ягоды и виноград с кустов и лоз. Все это было за пределами моего жизненного опыта.

Мне никогда не забыть, когда в первый раз на моих глазах подали на стол чернику. Черники я до тех пор не видел, однако при первом же взгляде на нее я живо вспомнил, что в моих сновидениях я не раз бродил по болотистым урочищам и вволю ел эти ягоды. Мать поставила передо мной тарелку с черникой. Я зачерпнул ягод ложкой и еще не успел поднести ее ко рту, как уже знал, какова черника на вкус. Съев ягоды, я понял, что не ошибся. Вкус у черники был точно такой, к какому я привык, поедая в своих сновидениях эту ягоду на болотах.

Змеи? Задолго до того, как я вообще услышал о змеях, они мучали меня в ночных кошмарах. Они подстерегали меня на лесных полянах, неожиданно взвивались из-под ног, ползали в сухой траве, пересекали голые каменистые участки или преследовали меня на деревьях, обвивая своими огромными блестящими телами стволы и заставляя меня взбираться все выше и все дальше по качающейся, трещавшей ветви — при взгляде с нее на далекую землю у меня кружилась голова. Змеи! — эти раздвоенные языки, стеклянные

глазки, сверкающая чешуя, это шипение и треск — разве я не знал все это задолго до того дня, когда меня впервые повели в цирк и на арене появился заклинатель со змеями? Это были мои старые друзья, или, вернее, враги, из-за которых я терзался ночами от страха.

О, эти бесконечные леса и дебри, этот ужасающий лесной сумрак! Я блуждал по лесам целую вечность, — робкое, гонимое существо, вздрагивающее при малейшем звуке, пугающееся собственной тени, всегда настороженное и бдительное, готовое мгновенно кинуться прочь в смертельном страхе. Ведь я был легкой добычей любого кровожадного зверя, какой только обитал в лесах — и ужас, безумный ужас гнал меня вперед, бросая за мной по пятам неслыханных чудовищ.

Когда мне исполнилось пять лет, я впервые попал в цирк. Домой я вернулся больным — и отнюдь не от розового лимонада и орехов. Сейчас я расскажу все по порядку. Как только мы вошли под тент, где находились животные, раздалось громкое ржание лошади. Я вырвал свою руку из руки отца и стремглав бросился назад к выходу. Я натыкался на людей, и наконец упал наземь, и все время ревел от ужаса. Отец поднял меня

и успокоил. Он показывал на толпу, которая не боится конского ржания, и уверял, что в цирке совершенно безопасно.

Тем не менее лишь со страхом и трепетом и под ободряющей рукой отца приблизился я к клетке, в которой сидел лев. О, я тотчас узнал его! Грозный, ужасный зверь! И в моем сознании вдруг вспыхнула картина из ночных видений — полуденное солнце сверкает на высокой траве, мирно пасется дикий буйвол, внезапно трава расступается под стремительным рывком какого-то темно-рыжего зверя, зверь этот прыгает на спину буйволу, тот, мыча, падает, потом слышится хруст костей. Или другое: спокойное прохладное озерцо, дикая лошадь, стоя по колена в воде, неторопливо пьет, и тут снова темно-рыжий — опять этот темно-рыжий зверь! — прыжок, ужасающий визг лошади, плеск воды и хруст, хруст костей. Или еще: мягкий сумрак, грустная тишина летнего вечера, и среди этой тишины могучее, гулкое рычание, внезапное, как трубный глас судьбы, и сразу же вслед за ним пронзительные, душераздирающие крики и лопотание в лесу, и я — я тоже пронзительно кричу и лопочу вместе с другими в этом сумраке леса.

Глядя на него, бессильного за толстыми пру-

тьями клетки, я пришел в ярость. Я скалил на него зубы, дико плясал, выкрикивал бессвязные, никому не понятные унизительные эпитеты и строил дурацкие рожи. В ответ он бросался на прутья и рычал на меня в тщетном гневе. Да, он тоже узнал меня, и язык, на котором я разговаривал с ним, был знакомым ему языком древних, седых времен.

Мои родители страшно перепугались. «Ребенок заболел», — сказала мать. «У него истерика», — сказал отец. Ведь я никогда ничего не рассказывал им, и они ничего не знали. Я уже давно решил тщательно скрывать ото всех это мое свойство, которое, полагаю, я вправе назвать раздвоением личности.

Я посмотрел еще заклинателя змей, и больше на этот раз в цирке я ничего не видел. Меня увели домой, утомленного, в сильном нервном расстройстве: от этого вторжения в мою реальную, дневную жизнь другого мира, мира моих ночных сновидений, я был по-настоящему болен.

Я уже упоминал о своей скрытности. Только однажды я доверился и рассказал о своих необыкновенных снах. Я рассказал об этом мальчику — своему приятелю; нам обоим было по восемь лет. Из своих сновидений я создал для него карти-

ну исчезнувшего мира, в котором, как я уверен, я когда-то жил. Я рассказал ему о страхе, царившем в те незапамятные времена, поведал о Вислоухом и обо всех проделках, на которые мы с ним пускались, о безалаберных и шумных сборищах Племени, о Людях Огня и о захваченных ими землях.

Приятель смеялся и глумился надо мной. Он рассказал мне о привидениях и мертвецах, которые являются по ночам. Но больше всего он издевался над тем, что у меня будто бы слабая фантазия. Я рассказывал ему еще и еще, он хохотал надо мной все сильнее. Я самым серьезным образом поклялся ему, что все это так и было, и после этого он стал смотреть на меня с подозрением. Всячески перевирая, чтобы только позабавиться, он передал мои рассказы другим товарищам, и те тоже начали относиться ко мне с подозрением.

Это был горький урок, но я усвоил его крепко. Я иной, чем все другие. Я ненормален, ненормален в чем-то таком, чего они не могут понять, о чем бесполезно рассказывать — ведь это вызывает только недоразумения. Когда при мне говорили о привидениях и домовых, я был совершенно спокоен. Я лишь хмуро про себя улыбался. Я думал о своих страшных снах, и я знал, что мои видения

— это отнюдь не какой-то туман, тающий в воздухе, не призрачные тени, а реальность, такая же реальность, как сама жизнь.

Я и в мыслях не боялся каких-либо злых людоедов или страшных чертей. Падение сквозь покрытые зеленью ветви с головокружительной высоты, змеи, бросавшиеся за мной по пятам, когда я увертывался и, лопоча, удирал от них, дикие собаки, гнавшие меня через открытое поле к лесу, — лишь эти страхи и ужасы были для меня реальными, лишь это — подлинной жизнью, а не выдумкой, лишь тут трепетала живая плоть, струились кровь и пот. Людоеды и черти — да они были бы мне просто добрыми друзьями, если сравнить их с теми страхами и ужасами, которые посещали меня по ночам во времена моего детства и которые доселе тревожат мой сон, тревожат и ныне, когда я, уже зрелый мужчина, пишу эти строки.

Глава II

Я уже говорил, что никогда в моих снах не появлялось ни одно человеческое существо. Я осознал этот факт очень рано и мучительно страдал от этого. Еще малым ребенком, погружаясь в свои страшные сновидения, я чувствовал, что если бы рядом со мной оказался хоть один человек, хоть одно существо, подобное мне, я был бы спасен, меня не преследовали бы больше эти ужасы. Многие годы я думал каждую ночь об одном и том же — если бы найти этого человека, и тогда я буду спасен!

Я повторяю — я думал об этом во сне, среди кошмаров и сновидений, — этот факт означает для меня, что во мне одновременно живут два существа, две личности и что в такие минуты эти два существа, две мои части соприкасались и сближались друг с другом. То мое «я», которое принадлежало ночным сновидениям, жило давным-давно, в ту далекую эпоху, когда еще не появился и человек, каким мы его знаем; вторая моя личность, мое дневное «я» проникало в эти сновидения, в самую их сердцевину, и давало почувствовать, что на свете существуют люди.

Возможно, ученые психологи найдут, что, употребляя выражение «раздвоение личности», я допускаю ошибку. Я знаю, в каком смысле употребляют этот термин они, но я вынужден прибегнуть к нему и применить его на свой собственный лад за отсутствием другого подходящего термина. Могу только сослаться в этом случае на неприспособленность английского языка. А теперь поясню, в каком именно смысле я употребляю это выражение — или злоупотребляю им.

Ключ к пониманию своих снов, к осознанию их причины я обрел лишь тогда, когда превратился в юношу и начал учиться в колледже. До тех же пор никакого смысла в своих сновидениях я не улавливал, я не видел для них никакой почвы. Но в колледже я познакомился с психологией и с учением об эволюции и узнал, как объясняются различные состояния психики и душевные переживания, какими бы странными они ни казались с первого взгляда. Например, такой сон, когда человек падает с огромной высоты, — очень распространенное явление, известное по собственному опыту фактически всем.

Профессор сказал мне, что подобный сон является проявлением нашей расовой, родовой

памяти. Корни его уходят в отдаленные, седые времена, когда наши предки жили на деревьях. Падение с дерева было для них опасностью, угрожавшей постоянно. Много людей гибло таким образом: всем нашим предкам без исключения не раз приходилось падать, их спасало лишь то, что они хватались за ветки, не долетев до земли.

Такое ужасное падение, когда гибель казалась неотвратимой, оставляло в людях шок. Шок этот порождал молекулярные изменения в клетках мозга. Эти молекулярные изменения передавались мозговым клеткам потомков, становясь, таким образом, родовой памятью. Поэтому, когда мы, засыпая или уже во сне, падаем с огромной высоты и просыпаемся с неприятным чувством, что вот-вот должны были упасть и удариться, мы лишь вспоминаем, что происходило с нашими предками, жившими на деревьях, и что врезалось путем изменений в мозговых клетках в память человеческого рода.

Во всем этом нет ничего странного, как нет ничего странного и в инстинкте. Инстинкт — это не более как привычка, вошедшая в плоть и кровь и передаваемая по наследству. Кстати заметим, что в этих хорошо знакомых и вам, и мне, и всем нам сновидениях, когда мы летим с высоты,

мы никогда не падаем и не ударяемся оземь. Такое падение означало бы гибель. Те из наших предков, которые падали и ударялись оземь, как правило, умирали. Шок от их падения, конечно, передавался мозговым клеткам, но они умирали тут же, не оставляя после себя потомства. И вы и я — мы происходим от тех предков, которые, падая, не долетали до земли: вот почему в наших снах ни вы, ни я никогда не ударялись оземь.

А теперь мы коснемся вопроса о раздвоении личности. Мы никогда не испытываем чувства падения с высоты, пока мы не спим, а бодрствуем. Наша дневная личность таким опытом не обладает. Значит — и этот довод неопровержим — должна быть какая-то другая и вполне определенная личность, которая падает, когда мы спим, и которая должна обладать опытом падения с высоты — обладать памятью опыта далеких предков, подобно тому, как наша дневная личность обладает своим, дневным опытом.

Когда я понял это, предо мною забрезжил наконец свет. И скоро этот свет, ослепительный и яркий, хлынул на меня и сделал ясным все то, что было таинственным, жутким и сверхъестественным в моих ночных сновидениях. Во сне я представлял собою отнюдь не того человека,

каким был днем, — нет, я был другою личностью, обладающею не нашим обычным, а совсем иным опытом, или, в применении ко сну, памятью об этом совершенно ином опыте.

Но что же это за личность, этот некто? Когда он жил на этой планете обычной дневной жизнью и накопил столь неведомый для нас опыт? Вот вопросы, которые вставали передо мной и на которые дали ответ сами сновидения. Он жил давным-давно, когда мир был еще юн, в тот период, который мы называем средним плейстоценом. Он падал с деревьев, но не долетал до земли и не разбивался. Он трепетал от страха, услышав рычание львов. Его преследовали хищные звери, на него нападали смертоносные змеи. Он лопотал и тараторил на сборищах вместе с себе подобными, и он воочию видел всю жестокость Людей Огня, когда в смятении убегал от них.

Но вы уже возражаете мне: почему же эти родовые воспоминания не являются и вашими, тем более что и в вас гнездится эта смутная вторая личность, которая падает с высоты, когда вы спите?

Я отвечу вам на это, задав другой вопрос. Почему бывает двухголовый теленок? Сам я сказал бы в ответ, что этот теленок — уродство. И таким

образом я отвечаю на ваш вопрос. Во мне живет эта вторая личность и эти родовые воспоминания во всей их полноте и яркости, потому что я урод.

Позвольте мне объяснить это подробнее. Самым распространенным проявлением родовой памяти, которой мы, несомненно, обладаем, являются сновидения, когда мы падаем с высоты. В этом случае наша вторая личность чувствуется очень смутно. Она несет с собой лишь память о падении. Но во многих из нас эта вторая личность дает себя знать гораздо определеннее и острее. Многие видят сны, как они панически удирают от преследующих их чудовищ, многим снится, как их душат, у многих в сновидениях являются змеи и гады. Короче говоря, вторая личность присутствует во всех из нас, но в некоторых она проявляет себя еле уловимо, а в других более явственно. Есть люди, у которых родовая память гораздо сильнее и полнее, чем у остальных.

Значит, весь вопрос заключается только в том, в какой мере дает себя знать существующая в нас вторая личность. Что касается меня, то во мне она проявляет себя необычайно сильно. Мое второе «я» действует во мне почти с такой же энергией, что и моя собственная, дневная личность. С этой точки зрения я, как уже говорилось выше, насто-

ящий урод — каприз природы.

Я прекрасно понимаю, что существование этого второго «я» — хотя бы оно проявлялось и не в такой сильной степени, как у меня, — породило кое у кого веру в перевоплощение душ. Такой взгляд на вещи кажется этим людям весьма правдоподобным и убедительным. Когда им снятся сцены, которых они никогда не видели в действительности, когда они вспоминают во сне о событиях, имеющих отношение к отдаленным временам прошлого, легче всего им объяснить это тем, что они жили когда-то прежде.

Однако они делают ошибку, игнорируя свою дуалистичность. Они не хотят признать в себе второе «я». Они считают, что их личность, их существо едино и целостно; исходя из такой посылки, они приходят к выводу, что они жили, кроме нынешней жизни, еще и в прошлом.

Они заблуждаются. Это не перевоплощение. Во сне мне не раз виделось, как я странствовал по лесам Юного Мира, но это видел не я, а кто-то другой, лишь некая далекая часть меня, ибо ведь и мой дед и отец являются частью меня, хотя и менее отдаленной. Это другое «я» во мне — мой предок, пращур моих пращуров в начальную пору развития моего рода, являющийся сам по-

томком многих поколений, которые задолго до его жизни развили пальцы своих рук и ног и влезли на деревья.

Рискуя наскучить, я должен вновь повторить, что в известном смысле меня надо считать уродом. Я не только с необыкновенной силой нес в себе родовую память, но я наследовал память какого-то определенного, весьма отдаленного своего предка. И хотя это явление чрезвычайно редкое, ничего сверхъестественного в нем нет.

Проследите всю цепь моих доводов. Инстинкт — это родовая память. Прекрасно. Выходит, и вы, и я, и все мы наследуем эту память от наших отцов и матерей, а те, в свою очередь, наследуют ее от своих отцов и матерей. Это значит, что должен существовать какой-то посредник, который передавал бы эту память от поколения к поколению. Этим посредником выступает то, что Вейсман определил термином «гермоплазмы». Она хранит память человеческого рода на протяжении всех веков его эволюции. Память эта смутна, запутана, во многом утрачена. Но случается, что какой-то сорт гермоплазмы несет в себе исключительно сильный заряд памяти или, выражаясь научнее, является более атавистическим; так именно и произошло в моем случае. Я урод на-

следственности, я атавистическое, страшное чудо — называйте меня как угодно; но я существую, я реальный, я живой, я с аппетитом ем три раза в день — и с этим вам ничего не поделать.

Теперь, прежде чем снова приняться за свой рассказ, я хотел бы заранее возразить любому Фоме Неверующему от психологии, который при своей склонности к издевательским насмешкам, конечно, скажет, что относительная ясность и последовательность моих сновидений является следствием моей учености, что знания об эволюции так или иначе прокрадывались в мои сны и влияли на них. Прежде всего отмечу, что я никогда не был усердным студентом. Я окончил курс последним среди моих товарищей. Гораздо больше, чем наукой, я занимался атлетикой и — здесь нет причин, которые мне помешали бы признаться в этом, — бильярдом.

Пойдем далее. Пока я не поступил в колледж, я ничего не знал об эволюционном учении, а ведь в детстве и отрочестве я уже жил в мире снов, в древнем, давнем мире. Должен сказать, однако, что до знакомства с эволюционным учением сны эти казались мне запутанными, бессвязными. Учение об эволюции оказалось надежным ключом. Оно дало понимание, дало здравое объ-

яснение всем причудам атавистического мозга, который, будучи современным и нормальным, уносился в прошлое, вспять к первобытным временам, когда человечество только делало свои начальные шаги.

Мне известно, что в ту отдаленную эпоху человека, каким мы его знаем, не существовало. Значит, я жил и действовал в те дни, когда он лишь становился человеком.

Глава III

Чаще всего в раннем детстве мне снилась примерно такая картина: совсем маленький, я лежу, свернувшись клубочком, на ветвях и сучьях, образующих подобие гнезда. Порой я переворачиваюсь на спину. В таком положении я провожу целые часы, любуясь игрой солнца на зелени, колыхающейся над моей головой, и прислушиваясь к шороху листвы, когда ее шевелит ветер. Временами, если ветер усиливался, мое гнездышко раскачивалось взад и вперед.

И всегда, находясь в этом гнезде, я остро чувствовал, что я лежу высоко-высоко над землей, что меня отделяет от нее громадное пространство. Я никогда не выглядывал из своего гнезда и не смотрел вниз, я не видел этого пространства, но я *знал,* что оно существует, что оно начинается сразу подо мною и постоянно грозит мне, словно пустая утроба кровожадного чудовища.

Этот сон, безмятежный и спокойный, не перемежаемый никакими событиями, снился мне в раннем детстве очень часто. Но иногда в него внезапно врывались странные и ужасающие события — слышались раскаты грома, разражалась

страшная гроза, перед глазами проносились пейзажи, каких я никогда не видел в своей дневной жизни. Меня обступали кошмары, все мешалось в моей голове. Я ничего не понимал. В этих снах не было никакой логики, никакой связи.

Как вы убедились, картины, снившиеся мне, были лишены какой-либо последовательности. Сначала я видел себя беспомощным младенцем Юного Мира, лежавшим в гнезде из сучьев и веток, в следующую минуту я был уже взрослый мужчина Юного Мира, сражающийся с отвратительным Красным Глазом, еще через минуту я, томимый полдневным зноем, осторожно крался к холодному озерцу. События и случаи, отделенные друг от друга в Юном Мире целыми годами, чудовищно сжимаясь в моих снах, протекали в несколько минут или даже секунд.

Это был настоящий хаос, но обрушивать весь этот хаос на читателя я не считаю нужным. Все встало на свое место, все разъяснилось лишь тогда, когда я вырос и стал юношей, когда я перевидел подобных снов не одну тысячу. Лишь тогда я обрел путеводную нить, с помощью которой прошел по лабиринту веков, лишь тогда я смог расставить события в нужном порядке. И тогда же я получил возможность восстановить

умственным взором исчезнувший Юный Мир, увидеть его таким, каким он был, когда в нем жил я или мое второе «я». Различие между мной и моим вторым «я» в данном случае не имеет значения, ибо я, человек нашего времени, жил в те минуты первобытной жизнью вместе с той, второй моей личностью.

Зная, что надо поменьше пускаться в социологические рассуждения, и имея в виду прежде всего интересы читателя, я постараюсь изложить множество разнообразных событий в виде ясного и последовательного рассказа. Ведь в моих снах все же была какая-то общая связь, их пронизывала одна некая общая нить. Например, моя дружба с Вислоухим, или вражда с Красным Глазом, или любовь к Быстроногой. Согласитесь, что из всего этого вполне мыслимо создать связную и достаточно интересную повесть.

Мать свою я помню очень плохо. Самое раннее воспоминание о ней — и без сомнения, самое ясное — связано с тем, что я лежал на земле. Я был уже постарше, чем в те дни, когда я находился в гнезде на дереве, но оставался все таким же беспомощным. Я валялся в сухих листьях, играя ими и издавая однообразные горловые звуки. Светило теплое солнышко, мне было очень удобно, я

был счастлив. Лежал я на какой-то небольшой поляне. Со всех сторон поляну обступали кусты и папоротники, за ними высились сплошные стволы и ветви густого леса.

Вдруг я услышал какой-то звук. Я приподнялся, сел и стал вслушиваться. Я сидел недвижно, ни разу не пошевелившись. В горле у меня все стихло, весь я словно превратился в камень. Звук был слышен все ближе и ближе. Было похоже, что где-то хрюкает свинья. Затем я уловил шум кустов, раздвигаемых каким-то живым существом. Вслед за этим я увидел, как закачались потревоженные этим существом папоротники. Потом папоротники раздвинулись, и я увидел поблескивающие глазки, длинное рыло и белые клыки.

Это был дикий вепрь. Он с любопытством уставился на меня. Он несколько раз хрюкнул, переступил, переваливая тяжесть своего тела с одной ноги на другую и одновременно поводя рылом из стороны в сторону и раздвигая папоротники. Я сидел, будто каменное изваяние, и не мигая смотрел на него, сердце мое сжимал страх.

Вполне возможно, что эта неподвижность и полное молчание было как раз то, что и требовалось от меня. Мне нельзя было кричать, если меня что-то страшило. Так диктовал мне инстинкт. И

вот я сидел, не шевелясь, и ждал, сам не зная чего. Вепрь раздвинул папоротники и вышел на поляну. В глазах его уже не чувствовалось никакого любопытства, в них сверкала одна жестокость. Он встряхнул головой, с угрозой глядя на меня, и сделал по направлению ко мне маленький прыжок. Он повторил это снова и снова.

Тогда я завопил… или завизжал — я не могу подобрать точного слова, но это был вопль, крик ужаса. И, как мне кажется, завопив, я поступил тоже правильно, сделал то, что от меня требовалось. Ибо неподалеку от меня я услышал ответный крик. Мои вопли на какое-то время смутили вепря, и пока он в нерешительности переминался с ноги на ногу, на поляну выскочило еще одно существо.

Она была похожа на большого орангутанга, моя мать, или на шимпанзе, и в то же время резко отличалась от них. Она была плотнее, кряжистее этих обезьян и не так волосата. Руки ее были не так длинны, а ноги крепче и сильнее. На ней не было никакой одежды — только ее собственный волосяной покров. И могу вас заверить, что в те минуты, когда она от ярости выходила из себя, это была настоящая фурия.

И как фурия, она выскочила на поляну. Она

скрежетала зубами, делала страшные гримасы, фыркала и кричала пронзительным, долгим криком, который можно передать приблизительно так: «кх-ах! кх-ах!» Ее появление было столь неожиданно и устрашающе, что вепрь, щетина которого встала дыбом, невольно принял оборонительную позу. Мать кинулась сначала прямо к нему, потом ко мне. Ошеломленный вепрь, казалось, на секунду замер. Как только мать коснулась меня, я уже прекрасно знал, что мне делать. Я приник к ней всем телом, прижимаясь к пояснице и цепляясь за нее руками и ногами — да, ногами; я был способен держаться за нее ногами так же прочно и надежно, как и руками. Крепко вцепившись в шерстистую талию матери, я ощущал, как ходит ее кожа, как двигаются в напряженном усилии ее мускулы.

Я уже сказал, что я приник к ней, и в это же мгновение она подпрыгнула вверх и ухватилась руками за свисавшую ветвь. В следующий миг, стуча клыками, вслед за ней метнулся вепрь, но проскочил под веткой и не задел матери. Удивленный своей неудачей, он прыгнул вперед снова и завизжал, или, вернее сказать, затрубил. Так или иначе, это был настоящий зов, призыв, ибо скоро со всех сторон сквозь кусты и папоротники

стремительно ринулись свиньи.

Со всех сторон бежали на поляну дикие свиньи — целое стадо свиней. Но моя мать раскачивалась на конце толстой древесной ветви, в двенадцати футах над землей, я по-прежнему крепко держался за ее поясницу, и мы были в полной безопасности. Мать была страшно разгневана. Она лопотала и визжала, осыпая бранью щетинистое, клыкастое стадо, сгрудившееся под нами. Трепеща от страха, я тоже вглядывался в разъяренных животных и, стараясь изо всех сил, подражал визгу и крикам матери.

Откуда-то издалека к нам донеслись такие же крики, только более глубокие, переходящие в рычащий бас. Вот они стали гораздо громче, и вскоре я увидел его, моего отца — по всем тогдашним обстоятельствам я склонен думать, что это был мой отец.

Это был отнюдь не тот располагающий к себе папаша, какими бывают в большинстве своем отцы. Он выглядел наполовину человеком, наполовину обезьяной — не обезьяна и не человек. Мне трудно описать его. Ныне нет ничего похожего ни на земле, ни под землей, ни в земле. По понятиям тех времен, он был крупным мужчиной, весил он, должно быть, не меньше ста

тридцати фунтов. У него было широкое плоское лицо, его надбровные дуги нависали над глазами. Глаза сами по себе были малы, они глубоко сидели в глазницах, расстояние между глаз было узкое. Носа у него практически не было. То, что можно назвать носом, было плоско, широко, без выступающих хрящей, а ноздри зияли на лице словно дырки и были обращены прямо на вас, вместо того чтобы глядеть вниз.

Лоб был откинут круто назад, а волосы начинали расти прямо у глаз и покрывали собою всю голову. Сама голова была непропорционально мала и покоилась тоже на непропорционально толстой, короткой шее.

Во всем его теле чувствовалась некая примитивная экономия — столь же экономно было скроено тело и у всех нас. Правда, у него была глубокая грудь, глубокая, как пещера, но не было и признака развитых, надувшихся мускулов, не было широких, раздавшихся плеч, не было отчеканенной прямоты членов, не было благородной симметрии в общем телесном облике. Тело моего отца являло собой силу, силу, лишенную красоты; свирепую, первобытную силу, предназначенную для того, чтобы хватать, сжимать, раздирать, уничтожать.

Его бедра были тонки, а голени, худощавые и волосатые, кривоваты, и мускулы на них были тонкие, вытянутые. Да, ноги моего отца были похожи скорее на руки. Они были жилистые, неровные, шишковатые, почти ничем не напоминающие те красивые ноги с мясистыми икрами, которыми одарены и вы и я. Мне помнится, что отец при ходьбе не мог ставить ступню на всю ее плоскость. Причина этого кроется в том, что у него была хватающая ступня — скорее рука, чем нога. Большой палец ноги, вместо того чтобы идти по одной линии с другими пальцами, противостоял им, как противостоит большой палец руки, — и такое положение большого пальца на ноге позволяло отцу схватывать и удерживать предметы ногами, словно это были его вторые руки. Поэтому-то он не мог при ходьбе ставить ступню на всю ее плоскость.

Необычайна была внешность моего отца, но не менее необычайно было и то, как он явился к нам, когда мы сидели на ветке, глядя на беснующееся внизу стадо свиней. Он мчался к нам по деревьям, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево, и двигался он очень быстро. Я вижу его даже сейчас, когда, бодрствуя, при свете дня пишу эти строки: он раскачивается на ветках,

четырехрукое, волосатое существо, завывающее от ярости; на секунду он замирает на месте, колотя себя стиснутыми кулаками в грудь, потом прыгает, покрывая десять — пятнадцать футов пространства, цепляется одной рукой за ветку и вновь раскачивается, чтобы снова, пролетев по воздуху, схватить другой рукой новую ветку — и так все дальше, все дальше — никогда не колеблясь, никогда не становясь в тупик перед тем, как проложить себе этот путь по деревьям.

Глядя на него, я ощущал и в самом себе, в своих собственных мускулах некий порыв, некое желание вот так же взлететь на деревья, прыгая с ветки на ветку; и я уже чувствовал, что во мне, в моих мускулах скрыта энергия, которая может одолеть все это. Тут нет ничего странного. Наблюдая, как их отцы взмахивают топорами и валят деревья, мальчишки чувствуют всем своим существом, что придет время, когда и они будут взмахивать топорами и валить деревья. Именно такое чувство жило и во мне. Жизнь, которая билась во мне, предназначала меня делать то, что делал мой отец, она нашептывала мне тайные, честолюбивые мечтания об этих прыжках в воздухе, об этих лесных полетах.

Но вот отец уже с нами. Ярости его нет границ. Я

живо помню, как гневно выпятилась его нижняя губа, когда он взглянул вниз на стадо свиней. Он зарычал, словно собака; мне бросились в глаза его большие, как клыки, зубы; увидев их, я был потрясен.

Все, что делал теперь отец, еще больше злило свиней. Он отламывал сучья и ветки и кидал их вниз на наших врагов. Вися на одной руке, он подпрыгивал в воздухе над самыми свиными рылами, не давая, однако, тронуть себя. Он мучил врага, издевался над ним, а свиньи стучали клыками, взвизгивая в бессильной злобе. Не удовлетворившись этим, отец выломал увесистую дубинку и, повиснув на одной руке и одной ноге, стал тыкать разъяренных животных дубинкой в бока и колотить их по мордам. Надо ли говорить, как потешались этим зрелищем мы с матерью?

Но любая приятная вещь в конце концов надоедает, и мой отец, злобно смеясь, вновь пустился в путь по деревьям. Теперь мои честолюбивые мечты о воздушных полетах вмиг схлынули начисто. Я пугливо прижимался к матери, вздрагивая всякий раз, когда она прыгала с ветки на ветку. Помню, как однажды ветка обломилась под ее тяжестью. Мать сделала отчаянное, яростное движение, устремляясь в полет, послышался

треск сучьев, и я был захлестнут болезненным ощущением падения, летя в пустом пространстве вместе с матерью. Лес, сияние солнца на шелестящих листьях — все потемнело и исчезло из моих глаз. Последнее, что я видел, это отец, остановившийся на секунду, чтобы оглянуться на нас. Затем меня поглотила черная пустота.

В следующее мгновение я проснулся, лежа в своей кровати, на простынях, проснулся весь в поту, дрожащий, с ощущением тошноты. Окно было открыто, и в комнату вливалась струя прохладного воздуха. Спокойно горел ночник. И, глядя на все это, я заключил, что мы удачно скрылись от диких свиней и что мы не упали на землю — иначе как бы я, тысячу веков спустя, оказался тут, в этой спальне, чтобы вдруг все это припомнить?

А теперь поставьте на минуту себя на мое место. Перенеситесь воображением в мои безоблачные младенческие годы, поспите со мной в одной спальне и представьте себе, что это вам снятся такие кошмарные сны. Не забывайте, что я был неопытный ребенок. За всю мою жизнь я никогда не видел дикого вепря. Скажу больше, я никогда не видел и домашней свиньи. Самое близкое мое знакомство со свиньей заключалось

в том, что я глядел на шипящую в жире жареную ветчину, поданную к завтраку. И однако дикие вепри, реальные, как сама жизнь, обступали меня в моих сновидениях, и я вместе со своими чудовищными родителями летел и прыгал по ветвям величественных древних лесов.

Станете ли вы удивляться, если я скажу, что был напуган, подавлен этими ночными кошмарами? Я был поистине проклят. И что хуже всего, я боялся кому-либо признаться в этом. Боялся неведомо почему — из всех возможных причин такой скрытности я могу назвать лишь постоянно испытываемое мною чувство вины. Но какая вина, в чем она именно заключалась, — на это я не в силах был ответить. Так и случилось, что я молча страдал долгие годы, пока не стал взрослым и не разобрался, откуда идут мои сны, в чем их истинный корень.

Глава IV

Есть одна загадочная вещь во всех моих доисторических воспоминаниях. Речь идет о неопределенности, расплывчатости понятия времени. Я далеко не всегда знаю последовательность событий, часто я не могу сказать, сколько времени отделяет какие-нибудь события друг от друга — год, два, четыре или пять. Я могу приблизительно судить о том, как шло время, лишь по изменениям во внешности и занятиях моих близких.

Я могу также отыскать известную логику событий, перебирая все, что случилось. Например, нет никакого сомнения в том, что наш прыжок на деревья, когда мы спасались от диких свиней, и наше бегство, и наше падение имели место раньше, чем я познакомился с Вислоухим, который стал мне, можно сказать, закадычным другом. Я уверен также, что именно между этими двумя событиями я потерял мать.

У меня нет иных воспоминаний об отце, кроме тех, которыми я уже поделился. В последующие годы жизни он ни разу не появлялся на моих глазах. И, насколько я знаю ход событий, един-

ственное объяснение такого обстоятельства заключается в том, что отец погиб вскоре после приключения с дикими свиньями. А что отец погиб безвременно, в этом нет никаких сомнений. Он был полон сил, и только внезапная и насильственная смерть могла унести его. Но я не знаю, каким образом он погиб: утонул ли он в реке, пожрала ли его змея, или он попал в желудок Саблезубого, старого тигра. Обо всем этом у меня нет ни малейшего представления.

Следует учесть, что я вспоминаю из доисторических дней только то, что видел сам, собственными глазами. Если моя мать и знала, как именно погиб отец, она никогда не говорила мне об этом. Я даже сомневаюсь, была ли она способна рассказать все то, что знала: так скуден был ее словарь. В те дни весь словарь Племени состоял, может быть, из тридцати или сорока звуков.

Я называю их именно *звуками*, а не *словами*, ибо они были ближе все-таки к звукам. У них не было постоянного значения, им нельзя было придать новый смысл посредством прилагательных или наречий. Эти изощренные приемы речи еще не были изобретены. Вместо того чтобы оттенять всякий раз по-новому какое-либо существительное или глагол прилагательным

или наречием, мы окрашивали, определяли свои звуки-слова интонацией, изменениями в долготе и высоте, убыстрением или замедлением. Значение какого-либо звука изменялось, оттенялось в зависимости от того, быстро или медленно он произносился.

Мы не знали спряжений. О грамматическом времени мы судили только по контексту. Мы говорили только о конкретных вещах, ибо мы и думали лишь о конкретных вещах. В огромной мере мы прибегали к пантомиме. Какая-либо даже элементарная абстракция фактически была за пределами нашего мышления; и когда кому-либо приходило в голову что-либо отвлеченное, ему было невероятно трудно передать свою мысль своим ближним. Для этого не было звуков. Он должен был выходить за пределы своего словаря. В том случае, когда он изобретал новый звук, никто из окружающих этого звука не понимал. Изобретателю ничего не оставалось, как прибегнуть все к той же пантомиме, жестом поясняя свою мысль, где это возможно, и все время повторяя найденный им новый звук.

Так разрастался наш язык. Располагая ничтожным количеством звуков, мы были как бы связаны и в своем мышлении; при появлении но-

вых мыслей всякий раз возникала необходимость и в новых звуках. Бывало порой, что нам явно не хватало звуков, чтобы выразить какую-нибудь абстракцию (смею вас заверить, достаточно смутную), и растолковать ее окружающим мы были бессильны. В общем, язык в те дни развивался очень и очень медленно.

О, мы были удивительные простаки! Но мы знали уйму всяких вещей, которые никому не ведомы сегодня. Мы умели двигать ушами, настораживать их и прижимать по своей воле. Мы с легкостью могли почесать себя между лопаток. Мы могли кидать камни ногами. Я сам это делал множество раз. Я мог даже, не сгибая коленей, наклониться так, что касался земли не пальцами, а локтями. Ну, а что касается лазания за птичьими гнездами — тут нам позавидовал бы любой мальчишка двадцатого века. Но мы не собирали коллекций птичьих яиц. Мы ели их.

Я помню… но стойте, я забегаю вперед. Позвольте мне прежде рассказать о Вислоухом и о нашей дружбе с ним. Я начал жить самостоятельно, отдельно от матери, очень рано. Может быть, это случилось оттого, что после смерти отца мать взяла себе второго мужа. Я плохо помню его, а те воспоминания, какие я сохранил, не относятся к

числу счастливых моих воспоминаний. Это был пустой, легкомысленный малый. В нем не было никакой солидности. И он был ужасно болтлив. Даже сейчас, когда я пишу о нем, его трескотня отзывается у меня в печенках. У него была такая глупая, легкомысленная голова, что он никогда не мог ни на чем сосредоточиться, чего-то добиться. Глядя на обезьян в клетке, я неизбежно вспоминаю о нем. Он походил на обезьяну. Вот лучшее его описание, какое я могу только сделать.

Он возненавидел меня с первого взгляда. А я сразу понял, что надо остерегаться его и следить за всеми его коварными выходками. При каждом его появлении я крепче цеплялся за мать и прижимался к ней. Но я рос, становясь взрослее с каждым днем, и, естественно, начал отлучаться от матери, уходя от нее все дальше и дальше. Болтун этого-то только и дожидался. (Должен сказать, что в те времена никаких имен у нас не было и никто ни к кому по имени не обращался. Лишь для удобства читателей я даю имена всем тем, с кем я близко тогда сталкивался, и более подходящего имени, чем Болтун, своему драгоценному отчиму я придумать не в силах. Себя же я называю Большим Зубом. У меня были очень большие передние зубы.)

Но возвратимся к Болтуну. Он упорно преследовал меня. Он щипал, колотил меня, а при случае даже кусался. Нередко мать заступалась за меня, и было любо-дорого поглядеть, какую взбучку она ему задавала. В результате возникали бесконечные семейные ссоры, причиной которых был только я.

Да, моя домашняя жизнь складывалась не очень счастливо. Написав эту фразу, я улыбнулся. Домашняя жизнь!

Дом! У меня не было никакого дома в современном смысле этого слова. Мой дом — это окружавшие меня мне подобные, а не жилище, не убежище. Я жил под опекой матери, а не под крышей дома. А моя мать жила где придется, хотя с наступлением ночи непременно взбиралась на деревья.

Мать была старомодна. Она все тянулась к своим деревьям. Ведь более передовые члены нашего Племени жили в пещерах у реки. Но мать была подозрительна и держалась отсталых привычек. Деревья ее вполне устраивали. Разумеется, у нас было одно излюбленное дерево, на котором мы обычно ночевали, но нередко мы проводили ночь и на других деревьях, если там заставала нас темнота. На удобном развилке дерева мы устраивали

подобие площадки, применяя ветки, хворост, ползучие растения и листву. Больше всего это походило на громадное птичье гнездо, но птицы вьют свои гнезда, конечно, во сто раз аккуратнее и искуснее. Однако у нашего гнезда была такая особенность, которой я ни разу не видел ни у одного птичьего гнезда, а именно крыша.

О, конечно, не такая крыша, какую строит современный человек. И не такая, какие сооружают самые отсталые туземцы двадцатого века. Наша крыша была бесконечно грубее и неуклюжее самого примитивного произведения рук человека — того человека, какого знаем мы. Она была сложена как попало, самым беспорядочным образом. Над развилком дерева, где мы гнездились, просто клали кучу сухих веток и сучьев. Полдесятка соседних веток держали на себе то, что я мог бы назвать сводами. Это были просто крепкие палки в дюйм толщиной. На них-то и лежала упомянутая куча веток и сучьев. Они были накиданы почти без всякого расчета. Не чувствовалось даже попытки сделать крышу непроницаемой. И, должен сознаться, при сильном дожде она чудовищно протекала.

Но мне хочется еще раз вернуться к Болтуну. Из-за него домашняя жизнь была истинным

бременем как для матери, так и для меня — я говорю о домашней жизни, имея в виду не наши ночевки в гнезде на деревьях, а наше совместное существование, жизнь втроем. Преследуя меня, Болтун проявлял дьявольскую злобу и изобретательность. Только на этом и сосредоточивал он весь свой ум, размышлять о чем-либо другом больше пяти минут он не умел вообще. Время шло, и по мере того, как я становился взрослее, мать уже не так ревностно защищала меня. Мне кажется, что из-за постоянных скандалов, которые устраивал ей Болтун, мать уже тяготилась мной. Во всяком случае, мое положение с каждым днем становилось все хуже и хуже, и волей-неволей мне надо было думать об уходе из семьи. Но судьба не дала мне совершить столь решительный и горделивый поступок. Прежде чем я собрался уйти, меня сбросили. Я говорю это в самом буквальном смысле слова.

Болтун воспользовался для этого случаем, когда я остался один в гнезде. И мать и сам Болтун ушли вместе на болота, где росла черника. Видимо, Болтун заранее выработал план действий, так как скоро я услышал, что он возвращается лесом и яростно рычит, подогревая свой гнев. Подобно всем мужчинам нашего Племени, когда они

гневались или желали разгневаться, он останавливался и бил себя в грудь кулаком.

Сознавая свое безвыходное положение, я, дрожа, скорчился в гнезде. Болтун направился прямо к нашему дереву — я хорошо помню, что это был дуб, — и начал взбираться вверх. И он ни на мгновение не прекращал дьявольски рычать и что-то выговаривать мне. Как я уже упоминал, язык наш был невероятно скуден, и мой отчим должен был всячески изощряться, чтобы дать понять мне, что он смертельно ненавидит меня и намерен сейчас же свести со мной все счеты.

Едва он поднялся до уровня гнезда, как я кинулся бежать по огромной горизонтальной ветке. Он погнался за мною, и мне пришлось продвигаться дальше и дальше, к самому концу ветви. Я цеплялся теперь за мелкие сучья, укрываясь среди листвы. Болтун всегда был трусом и, как бы он ни горячил себя и не гневался, чувство осторожности в нем было сильнее всякого гнева. Он боялся приблизиться ко мне, ступив на мелкие, ненадежные сучья и ветки. Ведь он был куда тяжелее меня и, подломив эти ветки и сучья, сорвался бы прежде, чем меня поймал.

Но Болтуну не было нужды приближаться ко мне — и подлец прекрасно знал это. Скорчив

злорадную рожу, поблескивая своими маленькими глазками, он принялся трясти и раскачивать ветви. Раскачивать! А ведь я сидел на самом кончике ветки, цепляясь за сучья, которые все время трещали и обламывались подо мной. И до земли было целых двадцать футов!

Он тряс и раскачивал ветви все яростнее, оскалив зубы в злобной усмешке. Затем наступил конец. Моя опора вдруг рухнула, и я полетел спиной вниз, глядя на отчима и сжимая руками и ногами обломившуюся ветку. К счастью, под деревом не оказалось диких свиней, и удар был смягчен упругими прутьями кустов, на которые я свалился.

Падение, как правило, прерывает мои сны, и нервная встряска мгновенно переносит меня через тысячу веков, швыряя в мою маленькую кроватку, где я лежу с широко открытыми глазами, дрожа и обливаясь потом, и слушаю, как в зале кукушка отсчитывает часы. Однако этот сон об изгнании меня из дома снился мне много раз и никогда не кончался внезапным пробуждением. Всякий раз я летел сквозь трещавшие ветки, пронзительно кричал и с глухим стуком ударялся о землю.

Весь исцарапанный, в синяках, я лежал и

жалобно хныкал. Сквозь кусты мне был виден Болтун. Он пел какую-то дьявольскую песнь радости и в такт своей песне все еще раскачивал дерево. Я быстро прекратил свое хныканье. Ведь я был теперь не на дереве, которое спасало меня от опасностей; я знал, что если я буду, выражая свое горе, громко рыдать, то я привлеку к себе внимание диких зверей.

Помню, что я, подавив рыдания, с интересом смотрел, как играет свет на моих полузакрытых, залитых слезами веках. Потом я оглядел себя и увидел, что от падения я пострадал не так уж сильно. Кое-где были ободраны волосы и кожа; острый, зазубренный конец ветки, с которой я летел на землю, вонзился на целый дюйм мне в руку выше локтя; невыносимо ныло правое бедро, на которое пришелся главный удар при падении. Но в конце концов все эти повреждения можно было считать пустяками. Ведь кости остались целы, а мускулы и ткани человека тех времен заживали гораздо лучше, чем в наши дни. И все же это было тяжелое падение: я прихрамывал на правую ногу целую неделю.

Пока я лежал в кустах, меня охватило чувство тоскливого одиночества. Я ощущал себя совершенно бездомным. Я решил никогда больше не

возвращаться к матери и Болтуну. Я уйду куда-нибудь подальше, в эти страшные леса, выберу себе дерево и устрою на нем гнездо. Что касается пищи, то я уже знал, где искать ее. Ведь уже минул по меньшей мере год, как мать перестала заботиться о моем пропитании. Она лишь защищала меня от всяких напастей и была мне учителем.

Я осторожно выбрался из кустов. Оглянувшись назад, я увидел, что Болтун все еще распевает свою радостную песню и раскачивает дерево. Такая картина, разумеется, мне не доставила удовольствия. Я уже умел соблюдать осторожность и, пускаясь в свое первое путешествие, был чрезвычайно бдителен.

Я не задумывался, куда я иду. У меня была единственная цель — уйти от Болтуна туда, где он не нашел бы меня. Я взобрался на дерево и в течение нескольких часов шел по деревьям, прыгая с одного на другое, ни разу не спустившись на землю. Я не выбирал определенного направления, не придерживался прямого пути. Всякая последовательность была чужда моей натуре, как она была чужда и всему моему Племени. Помимо того, я был ребенком: я не раз подолгу задерживался на месте, увлекшись игрой.

Все, что произошло после моего бегства из

дома, я помню весьма туманно. События этого времени мне не снились. Моя вторая личность многое забыла, и больше всего забыто именно из этого периода. Вспоминая различные картины сновидений, я не в силах себе представить, что именно происходило в те дни, когда я покинул родное дерево и еще не пришел в пещеры.

Помнится только, что несколько раз я выходил на открытые поляны. Трепеща от страха, я спускался с деревьев и пересекал эти поляны, несясь по ним во всю прыть. Помню, что были дождливые дни, и были ясные, солнечные, — должно быть, я блуждал в одиночестве немало времени. Особенно памятны мне дождливые дни, когда приходилось терпеть всякие невзгоды; хорошо помню, как я голодал и как ухитрялся утолить свой голод. Ярко встает в памяти картина охоты на маленьких ящериц, обитавших на каменистой вершине открытого холма. Они шныряли в расщелинах, поймать их было почти невозможно, но однажды я случайно перевернул камень и изловил-таки под ним ящерицу. Однако меня напугали там змеи, и я покинул этот холм. Нет, змеи не гнались, не нападали на меня. Они просто лежали средь камней и грелись на солнышке. Но у меня был врожденный страх перед змеями,

и я опрометью бежал от них, словно они преследовали меня по пятам.

Потом я глодал горькую кору молодых деревьев. Смутно помню, что я ел множество зеленых орехов — у них была мягкая кожура и молочная сердцевина. И снова яркое, отчетливое воспоминание: у меня сильно болит живот. Возможно, боль была вызвана зелеными, несозревшими орехами, а может быть, ящерицами. Я этого не знаю. Но я прекрасно знаю, что мне необычайно повезло: меня не сожрал ни один хищник, пока я в течение нескольких часов корчился от боли, сидя на земле.

Глава V

В памяти ярко и резко вспыхивает картина того, как я вышел из леса. Я вижу себя на краю большого открытого поля. По одну сторону этого поля поднимались высокие утесы, по другую — протекала река. Берег круто сбегал к воде, повсюду, где склон шел положе, берег был иссечен тропинками. По этим тропинкам ходило на водопой Племя, жившее в пещерах.

Случайно я вышел к главному стойбищу Племени. С натяжкой можно даже сказать, что это был поселок. И моя мать, и я, и Болтун, и еще несколько обитателей лесов, которых я знал, — все это были, по существу, жители окраин. Мы входили в Племя, хотя и жили от него на отшибе. От наших мест до главного стойбища Племени было не так уж и далеко, хотя я в своих блужданиях шел к нему целую неделю. Если бы я держался прямого пути, я покрыл бы это расстояние за час.

Но вернемся к повествованию. Выйдя на окраину леса, я увидел темневшие в высоком утесе пещеры, открытое поле и тропинки, сбегавшие к реке. И на берегу, на чистом месте, я увидел множество своих соплеменников. Я был ребе-

нок, неделю я блуждал в полном одиночестве. За все это время я не видел ни одного существа, подобного мне. Я жил в постоянном страхе, будто затравленный. И теперь, увидя Племя, я преисполнился радости и со всех ног бросился навстречу ему.

И тогда произошло нечто странное. Кое-кто из Племени заметил меня и предостерегающе крикнул. И мгновенно все Племя, вопя от страха, в панике кинулось бежать прочь. Прыгая и цепляясь за скалы, все — взрослые и дети — тотчас же укрылись в пещеры… оставив снаружи лишь одного маленького дитятю, которого бросили в суматохе у подножия утеса. Ребенок горько плакал. Его мать выскочила из пещеры; ребенок бросился к ней и крепко прижался к ее груди, и она утащила его к себе в пещеру.

Я остался совершенно один. Берег, минуту назад столь оживленный, внезапно опустел. С тоскою в сердце я сел на землю и разрыдался. Я ничего не понимал. Почему Племя убежало от меня? Позднее, когда я узнал его нравы поближе, мне все стало ясно. Увидя, как я со всех ног выбежал из леса, они решили, что за мной гонится хищный зверь. Своим неожиданным вторжением я испугал их насмерть.

Сидя на земле и следя за входами в пещеры, я сообразил, что и Племя следит за мною. Вскоре мои перепуганные соплеменники начали высовываться из пещер. Через минуту они уже перекликались и переговаривались друг с другом. Оказалось, что в спешке и смятении многие из них перепутали пещеры и забрались в чужие. В чужие пещеры попали и некоторые малыши. Матери не могли их кликнуть по имени, так как имена еще не были изобретены. Все члены Племени были безымянны. Матери издавали резкие тревожные звуки, по которым малыши узнавали их. Таким же образом окликала меня моя мать, и я узнал бы ее голос среди голосов тысячи других матерей, а она тоже различила бы мой голос среди голосов тысячи других детей.

Долго еще перекликалось Племя, не смея выйти из пещер и спуститься на землю. Наконец один из соплеменников решился и вылез. Ему было суждено сыграть большую роль в моей жизни, немалую роль играл он и в жизни всего Племени. На страницах этой повести я буду называть его Красным Глазом, так как у него были воспаленные глаза и вечно красные, словно бы говорившие о его кровожадной свирепости веки. Да и все его существо, сама его душа была как бы

окрашена кровью.

Он был поистине чудовищем во всех отношениях. Физически он выглядел настоящим гигантом. Вес его, должно быть, достигал ста семидесяти фунтов. Крупнее его я не встречал никого во всей нашей породе. Среди Людей Огня и среди Лесной Орды мне тоже не доводилось видеть таких великанов. Иногда, наткнувшись в газетах на описание наших боксеров и борцов, я размышляю, какие шансы были бы у самого сильного из них, если бы он вышел схватиться с Красным Глазом.

Боюсь, что у нашего атлета не оказалось бы ни одного шанса. Своими железными пальцами Красный Глаз мог бы с корнем вырвать у него из тела бицепс или любой другой мускул. Ударом кулака наотмашь он раздробил бы ему череп, как яичную скорлупу. Резким выпадом своей дьявольской ноги (или задней руки) он выпустил бы ему наружу внутренности. Обхватив его шею, он мгновенно сломал бы ее, и, я готов поклясться, если бы он вцепился в шею зубами, он сразу перегрыз бы и сонную артерию и позвоночник.

Он был способен прыгнуть на двадцать футов в длину прямо из сидячего положения. И он был ужасно волосат. Мы гордились, если были не

очень волосаты. Но он был сплошь покрыт густыми волосами, волосы в равной мере росли у него на внутренней и на внешней стороне рук, выше и ниже локтя, даже уши у него густо заросли волосами. Только ладони и подошвы ступней были голыми, да еще отсутствовали волосы под глазами. Он был до ужаса безобразен, рот его, с огромной отвисшей нижней губой, кривился в жестокой усмешке, крохотные глазки смотрели свирепо.

Это и был Красный Глаз. Он осторожно вылез из пещеры и спустился на землю. Не обращая на меня внимания, он стал осматривать местность. Ходил он, круто сгибаясь в пояснице; он наклонялся так сильно, а его руки были столь длинны, что, делая шаг вперед, он касался земли суставами пальцев руки. Такая полусогнутая поза при ходьбе была очень неудобна, и он касался земли пальцами обеих рук, по существу, для опоры. Но посмотрели бы вы, с каким проворством он на своих четырех конечностях бегал! А именно на четырех конечностях все мы были неуклюжи и чувствовали себя очень неловко. Только редкие из нас опирались на суставы пальцев при ходьбе, — это было уже атавизмом, и у Красного Глаза он проявлялся сильнее, чем у кого-либо в

Племени.

Красный Глаз был воплощением атавизма. Все мы тогда находились на переходной ступени, отказываясь от жизни на деревьях и начиная жить на земле. В этот процесс было втянуто уже несколько поколений, и наше тело и наши привычки успели за это время измениться. Но Красный Глаз принадлежал к исчезнувшему типу тех, кто жил на деревьях. Поскольку он родился в нашем Племени, он поневоле оставался с нами, но его атавизм делал его, по существу, чуждым нам: он вполне мог бы жить где угодно, вне Племени.

Соблюдая величайшую предосторожность, он расхаживал по полю и пристально вглядывался сквозь деревья леса, стараясь увидеть того хищного зверя, который, как все считали, гнался за мной. На меня он по-прежнему не обращал внимания, а Племя, выбравшись из пещер, не отходило от них и ждало, чем кончится разведка Красного Глаза.

В конце концов Красный Глаз убедился, что лес не таит никакой опасности. Он окинул взглядом береговую тропинку, ведущую к водопою, и заковылял по направлению ко мне. Но он все еще делал вид, словно и не замечает меня. По-

том, будто случайно оказавшись рядом со мной, он безо всякого предупреждения молниеносно размахнулся и ударил меня по голове. Я отлетел от него футов на двенадцать, прежде чем вновь ощутил под собой твердую землю, и тут же до меня донесся дикий хохот — это, визжа и кудахтая, смеялось надо мной столпившееся у пещер Племя. Лучшего посмешища для них нельзя было и придумать — по крайней мере в тот день, — и они веселились от всего сердца.

Так я был принят в Племя. Красный Глаз удалился, даже не взглянув на меня, и я мог без помех хныкать и рыдать, сколько мне было угодно. Подошли несколько женщин и стали кружком около меня, я узнал их всех. Я встречал их в прошлом году в далеких ущельях, собирая вместе с матерью орехи.

Но женщины быстро покинули меня, и я оказался окруженным десятком любопытных мальчишек. Они показывали на меня пальцами, строили рожи, толкали и щипали меня. Я оробел и какое-то время сносил эти пытки, затем гнев охватил мое сердце, и я бросился кусать и царапать самого смелого из всей этой ватаги — это был не кто иной, как Вислоухий. Я назвал его таким именем, потому что он мог двигать и на-

стораживать лишь одно ухо, другое у него висело без движения. В результате какого-то несчастного случая у него был поврежден соответствующий мускул.

Вислоухий сцепился со мной, и мы принялись драться, как все мальчишки на свете. Мы царапались и кусались, таскали друг друга за волосы, душили друг друга и валили наземь. Помню, что я одолел своего противника, прибегнув к приему, который, как мне стало известно в колледже, называется «полунелсоном». Прием этот дал мне тогда решающее преимущество. Но торжествовал я совсем недолго. Изловчившись, Вислоухий двинул мне ногой (или задней рукой) в живот с такой силой, что, казалось, из меня вылезут кишки. Мне ничего не оставалось, как разжать руки и отпустить его, затем мы сцепились снова.

Вислоухий был на год старше меня, но я во много раз был злее, и в конце концов он пустился наутек. Я кинулся вслед за ним, мы пересекли поле и спустились по тропинке к реке. Однако он прекрасно знал местность и увернулся от меня, взбежав на берег по другой тропинке. Потом он по диагонали снова пересек поле и скрылся в пещере с широким входом.

Прежде чем я сообразил, что мне делать, я уже

нырнул в эту пещеру сам. Оказавшись в полной темноте, я сильно испугался. Ведь быть в пещере мне никогда раньше не доводилось. Я расплакался и громко закричал. Вислоухий в ответ на это пролопотал мне что-то издевательское, кинулся на меня, пользуясь темнотой, и сбил меня с ног. Однако он не отважился сцепиться со мною вновь и тут же отскочил в сторону. Выход из пещеры был позади меня, и Вислоухий не проходил туда, тем не менее он исчез, словно провалился. Я стал прислушиваться, но никак не мог понять, куда он скрылся. Это сильно озадачило меня, я выбрался к выходу, сел там и стал ждать, что будет дальше.

Он не выходил из пещеры, в этом я был уверен, но через несколько минут он хихикнул прямо у меня над ухом. Я снова погнался за ним, и снова он нырнул в пещеру, но на этот раз дальше входа я не двинулся. Отступив еще на несколько шагов, я стал снова выжидать. И опять мой противник не выходил из пещеры, и опять, как и раньше, он захихикал прямо у меня над ухом и увлек меня за собой в пещеру в третий раз.

Эта сцена повторялась до бесконечности. Наконец я зашел в глубь пещеры и стал искать Вислоухого. Во мне заговорило любопытство. Я не мог понять, каким образом он ускользал от меня.

Ведь всякий раз он входил в пещеру, но никогда не выходил из нее и всегда оказывался у меня за плечом, насмешливо хихикая. Так наша драка незаметно превратилась в игру в прятки.

С небольшими перерывами мы играли с Вислоухим до вечера, и скоро между нами установились непринужденные, дружественные отношения. В конце концов он уже не убегал от меня, и мы сидели рядом, обняв друг друга. А немного позднее он открыл мне тайну загадочной пещеры. Взяв за руку, он провел меня в самые ее глубины. Оказалось, что она соединяется узкой расщелиной с другой пещерой, и по этой-то расщелине мы вышли на воздух.

Теперь мы стали добрыми друзьями. Когда один раз на меня напали другие мальчишки, он встал на мою защиту, и мы вместе дали неприятелю такую взбучку, что скоро ко мне уже никто не приставал. Вислоухий познакомил меня с поселком. Он почти ничего не мог мне рассказать о нравах и обычаях Племени — для этого у него недоставало слов, но я многому научился, следя за его действиями, и он показал мне все интересные места в окружности.

Он водил меня по полю, раскинувшемуся между пещерами и рекой, потом мы углубились в

лес, где на зеленых полянах вволю полакомились морковью. После этого мы пошли к реке и напились, а затем стали подниматься по тропинке к пещерам.

На этой-то тропинке мы и столкнулись вновь с Красным Глазом. Едва я успел сообразить, в чем дело, Вислоухий уже отскочил в сторону и спрятался за песчаным бугром. Само собой разумеется, что я, недолго думая, кинулся вслед за ним. Только потом я оглянулся и понял, чем был так напуган Вислоухий. По середине тропинки чванливо ковылял Красный Глаз, его воспаленные глазки грозно сверкали. Я заметил, что малыши и подростки врассыпную бежали от него прочь, как это сделали и мы, а взрослые, следя за ним внимательным взглядом, отступали в сторону и давали ему дорогу.

Когда спустились сумерки, поле опустело. Племя укрылось в пещеры. Вислоухий повел меня на ночлег. Мы вскарабкались вверх по утесу и, оказавшись над всеми остальными пещерами, попали в узкую расщелину, совсем незаметную с земли. В нее-то и влез Вислоухий. Я последовал за ним, и мне с трудом удалось протиснуться — так узка была щель, служившая входом в жилище Вислоухого. Мы оказались в маленькой

каменной келье. Она была не больше двух футов в высоту, фута три в ширину и фута четыре в длину. Здесь-то, прижавшись друг к другу, мы в обнимку и проспали эту ночь.

Глава VI

Играя с наиболее смелыми подростками около пещер с широким входом, я скоро понял, что эти пещеры необитаемы. В них никто не спал по ночам. Заняты были только пещеры с узким входом, и чем у́же был вход, тем пещера считалась удобней. Все это проистекало из страха перед хищными животными, которые были для нас в те времена сущим проклятием и днем и ночью.

В первое же утро после ночевки с Вислоухим я убедился, насколько полезнее пещеры с узким входом. Едва-едва рассветало, когда на нашем поле появился старина Саблезубый, тигр. Двое из Племени к тому часу уже бродили по полю. Увидев тигра, они бросились наутек. То ли они чересчур перепугались и лишились рассудка, то ли тигр был от них слишком близко, я не знаю, но они даже не пытались влезть на утес и укрыться в безопасных пещерах, а забежали в ту самую пещеру с широким входом, в которой мы играли с Вислоухим накануне.

Что именно происходило внутри пещеры, трудно судить, но скорее всего двое беглецов пробрались через расщелину во вторую пещеру.

Расщелина оказалась для Саблезубого слишком узкой, и он, разозленный неудачей, повернулся и вышел из пещеры тем же входом, каким вошел. Было очевидно, что тигру не повезло ночью на охоте и он рассчитывал задрать себе на завтрак кого-нибудь из нас. Вдруг он заметил беглецов у входа во вторую пещеру и прыжком ринулся к ним. Разумеется, они юркнули назад и перебежали узким проходом в первую пещеру. Саблезубый вышел из второй пещеры еще более взбешенный и громко зарычал.

Тут уже засуетилось и заметалось все Племя. Прыгая по огромному утесу, мы толпились у всех расщелин, на всех выступах, лопотали и визжали на все лады. Мы ужасно гримасничали, скаля при этом зубы, — такова была наша неистребимая привычка. Мы злобствовали не меньше Саблезубого, хотя к нашей злобе и примешивался страх. Помнится, я вопил и гримасничал так же, как самые рьяные из Племени. И не только потому, что они служили мне примером, нет, я чувствовал внутреннюю потребность делать то же самое, что делали они. Волосы у меня ощетинились, весь я извивался и корчился в приступе необъяснимой злобы и ярости.

Несколько минут Саблезубый метался от од-

ной пещеры к другой, забегал в них и снова выскакивал. А те двое беглецов быстро лазали по расщелине туда и сюда и таким образом избегали тигриных лап. Тем временем Племя, облепившее утес, начало действовать. Как только тигр выскакивал из пещеры наружу, в него летели камни. Сначала мы только обрушивали их на зверя, а потом стали кидать с силой, придавая камням большую стремительность.

Эта бомбардировка привлекла внимание Саблезубого уже к нам, и он рассвирепел еще больше. Он перестал гоняться за беглецами и прыгнул вверх, стремясь взобраться на утес. Камень крошился под его когтями, он рычал и лез все выше. При виде этого ужасного зрелища все мы до последнего кинулись внутрь пещер. Я это твердо знаю, ибо я выглянул из своей пещеры и увидел, что на утесе не было ни души, а Саблезубый сорвался с него и скользил в это мгновение вниз, на землю.

Я разразился торжествующим криком, и снова Племя выскочило наружу и облепило утес; опять все пронзительно визжали и завывали, и камни полетели с утеса пуще прежнего. Саблезубый теперь словно взбесился. Невзирая на неудачи, вновь и вновь он пытался взобраться на утес.

Однажды он уже был у входа нижней пещеры, но снова сорвался, так и не проникнув в нее. При каждом его прыжке нас охватывал невообразимый ужас. Сначала большинство из нас, как только Саблезубый оказывался на утесе, кидалось в пещеры, но кое-кто все-таки оставался снаружи и продолжал швырять в него камни; скоро положение изменилось: теперь уже не убегал никто, и все дружно вели обстрел неприятеля.

Никогда еще Саблезубый не терпел такого явного поражения. Его гордость была уязвлена страшным образом: ведь его перехитрило столь малорослое, слабосильное Племя. Он стоял внизу на земле и, глядя на нас, рычал, бил хвостом и огрызался на каждый летевший камень. Однажды я метнул в него камнем в тот момент, когда он поднял вверх морду. Камень попал ему в кончик носа, и тигр подпрыгнул в воздух, взметнув все свои четыре лапы. От неожиданности и боли он зарычал и замяукал, как кошка.

Он был побежден, и знал это. Спасая свое достоинство, он под градом камней важно зашагал прочь. Посреди поля он остановился на минуту и бросил на нас тоскливый голодный взгляд. Отказывать себе в еде Саблезубому очень не хотелось, а тут, всего лишь в нескольких шагах от

него, было столько мяса! Казалось, мы сидели в ловушке и тем не менее были недоступны. Глядя на тигра, мы принялись хохотать. Хохот наш звучал издевательски, мы хохотали во все горло, все до единого. А ведь ни одно животное не любит насмешки. Оно злится, если над ним смеются. Именно такое действие возымел наш хохот на Саблезубого. Он зарычал, повернул назад и снова бросился на утес. Мы только этого и ждали. Сражение с тигром уже стало для нас игрой, и мы с наслаждением швыряли в него камень за камнем.

На этот раз Саблезубый выдержал недолго. Обретя благоразумие, он быстро остыл, и, кроме того, мы сражались с ним все хитрей и искусней. Я хорошо помню, как вздулся у него глаз от метко брошенного камня, — тигр уже почти не видел этим глазом. И живо встает в моей памяти, как он, уже окончательно отступив к опушке леса, вновь остановился и поглядел на нас. Он раскрыл свою трепещущую пасть и показал нам свои громадные клыки до самых корней, шерсть у него встала дыбом, хвост колотил землю. Он рыкнул на нас в последний раз и скрылся из виду за деревьями.

Как мы после этого залопотали и зашумели! Мы толпою кинулись из своих убежищ вниз,

осматривая следы когтей Саблезубого на камнях утеса, и тараторили, перебивая друг друга. Один из тех, кто на рассвете бежал от тигра и прятался в двойной пещере, был долговязым подростком, почти юношей. Когда оба беглеца горделиво вышли из своей пещеры, мы встретили их с восторгом и стали вокруг них плотным кольцом. Вдруг мать долговязого подростка, растолкав толпу, подскочила к своему сыну. Вне себя от ярости, она начала бить его по щекам, таскать за волосы и при этом кричала, как ведьма. Это была очень рослая, коренастая женщина, вся в густых волосах; трепка, которую она задала своему сыну, сильно позабавила Племя. Мы надрывались от хохота, мы изнемогали от него и хватались для поддержки друг за друга; кое-кто из самых смешливых катался по земле.

Несмотря на вечный страх, тяготевший над Племенем, мы были большие охотники посмеяться. У нас было чувство юмора. Мы веселились от всего сердца, как веселился Гаргантюа. Мы хохотали самозабвенно, о какой-либо сдержанности мы не имели понятия. Что-нибудь самое простое, самое грубое могло показаться нам ужасно смешным, и мы хохотали до корчей, до колик в животе. О, мы умели посмеяться, уверяю вас!

Тот отпор, который встретил у нас Саблезубый, получал и каждый зверь, забравшийся в поселок. Мы бдительно охраняли наши тропинки и водопои, не давая подойти к ним ни одному зверю, если он забрел на вашу землю и случайно. Даже самые свирепые хищники были достаточно проучены и избегали приближаться к нашему стойбищу. Мы не могли похвастаться такой же силой, как они; мы были хитры и трусливы, и только наша хитрость и трусость, наша необыкновенная осторожность позволяла нам выжить среди ужасных врагов, которые окружали нас в Юном Мире.

Вислоухий, полагаю, был старше меня на год. О своей прошлой жизни он мне рассказать ничего не мог по скудости языка, но я никогда не видел его матери и считал его сиротой. Ведь если говорить об отцах, то они в нашем Племени в счет не шли. Брак был еще на самой примитивной ступени, супружеские пары постоянно ссорились и расходились. Современный человек, идя на узаконенный развод, делает то же самое. Но у нас не было никаких законов. Все у нас шло по обычаю, а обычай допускал в этой области полный беспорядок.

И тем не менее, как это будет видно из дальней-

шего рассказа, у нас уже слегка чувствовались признаки моногамии, которая возобладала в будущем, значительно укрепив придерживавшиеся ее племена. Даже в те дни, когда я был младенцем и еще не расставался с матерью, на деревьях близ нас жили устойчивые и верные друг другу пары. Жизнь в гуще Племени не располагала к единобрачию. Нет сомнения, что именно поэтому верные супружеские пары уходили из стойбища и обосновывались поодаль. Супруги жили вместе целые годы, хотя если кто-нибудь из них умирал или становился жертвой хищных зверей, оставшийся в живых непременно находил себе новую жену или нового мужа.

Одно обстоятельство сильно озадачивало меня с первых же дней, как я начал жить в Племени. Я замечал, что все испытывали какой-то безотчетный, смутный страх перед северо-востоком. Племя постоянно чего-то опасалось, ждало оттуда какой-то беды. Все с мрачной тревогой нет-нет да и поглядывали на северо-восток.

Когда мы с Вислоухим пошли однажды в северо-восточном направлении искать морковь, для которой наступил тогда лучший сезон, то он выказывал необычайную робость. Он был готов есть ботву, перезрелую, дряблую или совсем мелкую,

жиденькую морковь, но не хотел пройти дальше, где росли еще никем не тронутые мясистые корни. Когда я двинулся туда, он разбранил меня, учинив настоящий скандал. Он заявил мне, что в том направлении таится грозная опасность, но какая именно — этого Вислоухий никак не мог мне разъяснить по бедности своего словаря.

Пока он бранился и отчитывал меня, я отыскивал все новые и новые места с морковью и досыта набивал себе живот. Я не мог понять, что именно имеет в виду Вислоухий. Я соблюдал всяческие предосторожности, но никакой опасности не видел. Я постоянно прикидывал, на какое расстояние я удалился от ближайшего дерева, чтобы успеть добежать и взобраться на него, если вдруг выскочит старина Саблезубый, Темно-рыжий или какой-нибудь иной хищник.

Однажды вечером в поселке начался истинный переполох. Племя было в смятении, всех охватил глубокий страх. Столпившись на утесе, мужчины и женщины смотрели на северо-восток и показывали туда пальцами. Я не знал, что именно происходит, но живо полез кверху, в свою крошечную пещеру, и только потом огляделся по сторонам.

И тогда, вдали за рекою, на северо-востоке, я

впервые в жизни увидел дым. Своими размерами этот таинственный дым превосходил всех животных, каких я только знал. Я подумал было, что это некая чудовищная змея, поднявшая свою голову высоко над деревьями и к раскачивающаяся взад и вперед. Но потом, наблюдая за поведением Племени, я сообразил, что сам по себе дым не опасен. Племя испытывало страх перед дымом потому, что за ним скрывалось что-то другое, поистине грозное. Но что именно было это другое, я не мог догадаться. И никто не мог мне объяснить, в чем дело. Однако скоро я узнал, что это такая страшная опасность, перед которой не шли в счет уже ни Темно-рыжий, ни старина Саблезубый и никакие змеи, — опасность столь грозная, что грозней ее не могло и быть.

Глава VII

Сломанный Зуб был другой юнец, который тоже жил самостоятельно. Мать его занимала просторную пещеру, но у нее после Сломанного Зуба народилось еще двое детей, и в результате старший брат был изгнан. В течение нескольких дней мы смотрели, как его выгоняли, и от души потешались над этим. Сломанный Зуб упорно не желал уходить из дома и всякий раз, как мать по делам покидала пещеру, вновь забирался в нее. Когда мать возвращалась и обнаруживала там сына, гнев ее был великолепен. Почти половина Племени собиралась полюбоваться разъяренной мамашей. Сначала из пещеры доносились ругань и визг. Затем можно было расслышать звук затрещин и ударов и вопли Сломанного Зуба. Тогда же к рыданиям Сломанного Зуба присоединялся плач двух малышей. В заключение Сломанный Зуб кубарем вылетал из пещеры — это было словно извержение небольшого вулкана.

Но прошло несколько дней, и Сломанный Зуб был выброшен из дома окончательно. Он выплакал свое горе, сидя посреди поля один-одинешенек, и через полчаса пришел жить к нам с

Вислоухим. Наша пещера была очень мала, но, потеснившись, мы нашли место и для Сломанного Зуба. Насколько я помню, он ночевал с нами лишь одну ночь, значит, событие, о котором я сейчас расскажу, произошло в это же время.

Это случилось в полдень. Утром мы досыта наелись моркови, тут же в лесу стали играть и, позабыв всякую осторожность, забрались на высокие деревья. Не могу понять, почему проявил такую беспечность всегда бдительный Вислоухий, должно быть, он тоже заигрался. Мы играли на этих деревьях в салки. Замечательная была игра! Мы прыгали на десять — пятнадцать футов, даже не прилагая особых усилий. А прыгнуть с дерева на землю, пролетев двадцать или двадцать пять футов, было для нас сущей безделицей. Право, я даже боюсь сказать, на какие прыжки мы тогда отваживались. Потом, когда мы стали старше и грузнее, нам приходилось прыгать уже гораздо осторожней, но в те юные дни у нас были не мускулы, а настоящие пружины, и мы могли себе позволить все, что угодно.

Сломанный Зуб играл с необыкновенной ловкостью. Поймать его было почти невозможно, и, ускользая от нас, он всякий раз выкидывал такой трюк, изобретенный им самим, повторить

который не мог ни Вислоухий, ни я. Сказать по правде, мы даже не решались на это.

Когда мы гнались за ним, Сломанный Зуб обычно взбегал на конец высокого сука. До земли от этого сука было не меньше семидесяти футов, и если с него сорвешься, то зацепиться внизу было уже не за что. Но футов на двенадцать вниз и не меньше пятнадцати футов в сторону торчала ветка другого дерева.

Преследуя смельчака, мы тоже хотели взбежать на конец сука, но Сломанный Зуб начинал трясти его и тем мешал нам продвигаться. Мало этого, Сломанный Зуб ложился на этот сук спиной и раскачивал его. Как только мы приближались, Сломанный Зуб прекращал раскачиваться. Сук, как натянутая тетива, вскидывал его, и Сломанный Зуб летел, спиной вперед, в воздух. Падая вниз, он успевал перевернуться и вспрыгивал прямо на толстую ветку соседнего дерева. От такого толчка ветка сильно подавалась вниз и иногда зловеще потрескивала, но все же не ломалась; после каждого такого прыжка Сломанный Зуб, высунув голову из листвы, поглядывал на нас и торжествующе улыбался.

Вот я снова догоняю Сломанного Зуба на дереве. Он добежал до конца сука и опять принялся его

трясти и раскачивать, мешая мне приблизиться. И вдруг Вислоухий издал негромкий предупреждающий крик. Я посмотрел вниз и увидел, что он сидит в развилке дерева, крепко прижавшись к стволу. Я инстинктивно тоже прижался к толстой ветке и замер. Сломанный Зуб перестал трясти свой сук, но сук все еще раскачивался вниз и вверх и шелестел листвою.

Внизу на земле хрустнула сухая ветка, и, посмотрев туда, я впервые увидел Человека Огня. Он осторожно крался меж деревьев, устремив свой взгляд вверх, прямо на нас. Сначала я подумал, что вижу дикое животное, ибо на плечах и пояснице у него болталась обтрепанная медвежья шкура. Потом я разглядел его руки и ноги и черты его лица. Он был очень похож на нас, только не так волосат, и ноги у него не столь напоминали руки, как наши ноги. Позднее я узнал, что все его племя было менее волосато, чем наше, а мы, в свою очередь, были не так волосаты, как Лесная Орда.

Меня осенило мгновенно, едва я разглядел его: да, это был он — тот самый ужас северо-востока, который мерещился за таинственным дымом. И в то же время я недоумевал: в нем не было ничего страшного. Красный Глаз или другие сильные

наши мужчины выглядели гораздо страшнее его. Он был уже стар, весь в морщинах, волосы на его лице поседели. И он сильно прихрамывал на одну ногу. Можно было не сомневаться, что мы обогнали бы его и на земле и на деревьях. Нас ему не поймать ни за что, это было ясно с первого взгляда.

Однако в руках у него был какой-то предмет, которого я никогда не видел. Как оказалось, это был лук и стрела. Но в то время эти слова — лук и стрела — для меня ничего не значили. Откуда мог я знать, что в этой согнутой древесной ветке таится смерть? А Вислоухому это было известно. Он уже сталкивался с Людьми Огня раньше и немного знал их обычаи. Человек Огня устремил свой взгляд на Вислоухого и, не торопясь, стал огибать наше дерево. Не дремал и Вислоухий — он тоже двигался вокруг ствола, держась все время так, чтобы ствол заграждал его от пришельца.

Вдруг Человек Огня резко повернулся и шагнул вокруг дерева в обратном направлении. Вислоухий, застигнутый врасплох, тоже двинулся в обратном направлении, но не успел вовремя укрыться за ствол, и Человек Огня, спустив тетиву, выстрелил. Я видел, как взметнулась стрела, но, не попав в Вислоухого, мелькнула у самой

ветки и упала на землю. Укрываясь на высоком суке, я прямо-таки заплясал от восторга. Вот это была игра! Человек Огня кидал в Вислоухого какой-то предмет, как нередко кидали разные предметы друг в друга и мы.

Игра еще не кончилась, но Вислоухий больше из-за дерева не показывался. Человек Огня спокойно стоял на месте. Сидя на крепкой прямой ветке, я высунул голову наружу и залопотал, обращаясь к пришельцу. Я хотел, чтобы игра продолжалась. Я хотел, чтобы он кинул этот тонкий прут и в меня. Пришелец, будто не замечая моего присутствия, смотрел теперь на Сломанного Зуба, который все еще поневоле раскачивался на своем суку.

Вот снова взметнулась стрела. Сломанный Зуб завизжал от боли и испуга. Стрела попала в цель. Теперь дело приняло совсем другой оборот. Я уже не думал ни о какой игре и, дрожа, прижимался к ветке. Просвистели вторая и третья стрела; не попав в Сломанного Зуба, они пропарывали шуршавшую листву, поднимались вверх и, описав дугу, падали наземь.

Человек Огня снова натянул свой лук. Отступив на несколько шагов, он переменил место, затем сменил его еще раз. Зазвенела тетива, стрела

взметнулась вверх, и Сломанный Зуб с ужасающим криком полетел на землю. Я видел, как он, разметав руки и ноги, будто весь состоял лишь из рук и ног, несколько раз перевернулся в воздухе; торчавшая в его груди стрела при каждом повороте тела то исчезала, то появлялась вновь.

Пронзительно крича, он летел с высоты семидесяти футов; было слышно, как он ударился о землю и как хрустнули его кости; сначал он слегка выгнулся всем телом вверх, а потом распрямился. И он был еще жив, он кричал и шевелился, царапая землю руками и ногами. Я помню, что Человек Огня с камнем в руке кинулся к нему и размозжил ему голову… и больше я не помню ничего.

Каждый раз в течение всех моих детских лет я просыпался, увидя эту сцену, — я дрожал, я кричал от страха, а рядом с моей кроваткой нередко сидела мать или няня; они с тревогой смотрели на меня, нежно гладили по голове и говорили, что они здесь и что бояться совсем нечего.

Другой мой сон, в порядке последовательности, всегда начинался с того, как мы с Вислоухим бежали по лесу. Трагедия, разыгравшаяся со Сломанным Зубом, и страшный Человек Огня были уже позади. Напуганные, зорко озираясь, мы с

Вислоухим мчимся по деревьям. У меня мучительно болит правая нога: в нее вонзилась стрела Человека Огня; стрела торчит с обеих сторон, пронзив ногу насквозь. Она не только причиняет мне невыносимую боль, но мешает двигаться: я никак не поспеваю за Вислоухим.

Наконец я не выдерживаю и сажусь на удобный сук. Вислоухий продолжает идти вперед, прыгая с одной ветки на другую. Я окликаю его — насколько помню, я окликнул его самым жалобным тоном. Вислоухий остановился и поглядел на меня. Затем он повернулся, прыгнул ко мне и осмотрел пронзенную стрелой ногу. Он попытался вытащить стрелу, но зазубренный наконечник с одной стороны и хвостовое оперение — с другой помешали это сделать. Вмешательство Вислоухого лишь усилило боль, и я попросил его больше к моей ноге не прикасаться.

Какое-то время мы сидели на этом дереве, хотя Вислоухий нервничал и все время порывался идти; он беспокойно осматривался по сторонам, а я жалобно хныкал и стонал от боли. Вислоухий явно трусил, но его решение не покидать меня в беде, несмотря на объявший его страх, я считаю признаком альтруизма и чувства товарищества, которые впоследствии способствовали тому,

что человек стал самым могущественным среди животных.

Вислоухий вновь попытался вытащить стрелу, но я сердито остановил его. Тогда он приник к моей ноге и стал перегрызать стрелу с заднего конца у оперения. Он грыз стрелу, придерживая ее обеими руками, чтобы она не шевелилась в ране, а я цеплялся за его плечо. Я часто размышляю над этой сценой — вот два юнца, совсем еще мальчишки, на самой заре человечества, и один из них, превозмогая свой страх, подавляя эгоистическое желание бежать, остается на месте, чтобы помочь другому. И перед моим взором проходит все, что предвещала эта сцена: я вижу Дамона и Пифия, вижу спасательные команды, вижу сестер милосердия, вижу и вождей, обреченных на гибель, вижу святого Дамиана и самого Христа, вижу всех сильных людей Земли — их сила берет свое начало в грубых чреслах Вислоухого, Большого Зуба и других обитателей Юного Мира.

Когда Вислоухий перегрыз хвост стрелы, ее легко было вытащить из ноги. Я поднялся, собираясь идти, но сейчас остановил меня уже Вислоухий. Рана моя сильно кровоточила. Очевидно, в ноге было повреждено несколько мелких вен. Дотянувшись до зеленой ветки, Вислоухий нарвал

охапку листьев и заткнул мне рану. Это помогло, кровь скоро перестала течь. И тогда мы оба двинулись в путь, спеша под защиту пещер.

Глава VIII

Я прекрасно помню первую зиму после того, как я покинул дом. Мне часто снится, будто я сижу, скорчась, и дрожу от холода. Рядом со мной сидит Вислоухий, мы прижимаемся друг к другу, лица у нас посинели, зубы стучат. Чаще всего это бывало утром, перед рассветом. В эти холодные часы мы почти не спали; коченея, мы сжимались в жалкий комок и ждали восхода солнца, чтобы хоть немного согреться.

Когда мы выходили из пещеры, покрытая инеем земля похрустывала под ногами. Однажды утром мы увидели, что воду в тех местах, где был расположен наш водопой, затянуло льдом. По этому поводу мы держали великий совет. Даже старик Мозговитый — старше его в Племени не было никого, — даже и он не видел ничего подобного в жизни. Помню, какое тревожное и жалобное выражение приняли его глаза, когда он осматривал лед. (Это жалобное выражение появлялось в наших глазах всякий раз, когда мы сталкивались с чем-то непонятным или когда испытывали какое-нибудь смутное желание, которое не могли выразить ни звуком, ни жестом.)

Красный Глаз тоже осмотрел лед и тоже казался необыкновенно мрачным и подавленным: он уставил свой взгляд за реку, на северо-восток, словно бы появление льда было связано с Людьми Огня.

Но лед мы видели только однажды, в то утро — такой холодной зимы больше никогда не выдавалось. Во всяком случае, я не помню ни одной другой зимы, когда бы стояла такая стужа. И нередко я думаю, что эта зима была предвестником тех бесконечных холодов, которые пришли к нам с крайнего севера вместе с ледниками, проползшими по всей земле. Но этих ледников мы не видали. Еще много поколений должно было пройти и исчезнуть, прежде чем потомки нашего Племени или переселились на юг, или, оставшись на старых местах, приспособились к изменившемуся климату.

Жизнь то щадила нас, то жестоко расправлялась с нами — все зависело от удачи. Мы почти не строили никаких планов и тем более не добивались их осуществления. Мы ели, когда чувствовали голод, пили, когда ощущали жажду, избегали встреч с хищными зверями, укрывались на ночь в пещерах, а остальное время забавлялись чем придется. Мы были очень любопытны,

простодушны и вместе с тем изобретательны на разные шутки и проказы. Серьезными мы были только в минуту опасности или гнева — но опасность быстро забывалась, а гнев столь же быстро проходил.

Мы были непоследовательны и нелогичны. Мы не знали, что такое упорство в достижении цели — Люди Огня в этом отношении ушли от нас далеко вперед. У них были все эти свойства, которых так недоставало нам. Случалось, однако, особенно если дело касается чувств, когда мы могли долго лелеять какую-то одну мысль или стремиться к одной цели. Верность единобрачных пар, о которых я говорил, можно, конечно, объяснить привычкой, но нельзя объяснить привычкой мое длительное и горячее стремление к Быстроногой, так же как неистребимую вражду, которая существовала между мною и Красным Глазом.

Когда я оглядываюсь в то далекое прошлое, в ту давнюю жизнь, меня больше всего удручает наша нелогичность и недогадливость. Однажды я нашел разбитую тыкву, наполненную дождевой водой. Вода оказалась очень вкусной, и я выпил ее, потом я потащил пустую тыкву к ручью и зачерпнул ею воды, которую частью опять выпил,

а частью вылил на Вислоухого. А затем я бросил тыкву, позабыв о ней. У меня не мелькнуло и мысли, что можно наполнить эту тыкву водой и отнести ее к нам в пещеру. А ведь часто по ночам меня мучила жажда, в особенности после того, как поешь дикого лука или щавеля, и никто у нас никогда не отваживался встать и выйти ночью из пещеры, чтобы напиться.

В другой раз я нашел сухую тыкву, внутри ее гремели семечки. Я долго забавлялся, играя этой тыквой. Дальше игры дело у меня не пошло. Однако всего через несколько лет мы начали широко применять тыквы для хранения воды. Честь этого открытия принадлежит не мне, а старику Мозговитому; я думаю, что я буду прав, если скажу, что его толкнула на это нововведение старческая немощь.

Так или иначе, но первым во всем Племени стал применять тыквы Мозговитый. Он держал запас питьевой воды в своей пещере, вернее, в пещере своего сына, Безволосого, который отвел ему в пещере угол. Мы не раз наблюдали, как Мозговитый наполнял тыкву у водопоя и бережно нес ее в свою пещеру. Чувство подражания у нас было развито очень сильно: сначала один, а потом и другой стали запасаться тыквами и

применять их для хранения воды — скоро это стало всеобщим обычаем.

Порою старик Мозговитый хворал и не мог выходить из пещеры. Тогда воду в тыквах приносил ему Безволосый. Спустя какое-то время Безволосый поручил это дело своему сыну, Длинной Губе. И потом, когда Мозговитый был уже снова здоров, Длинная Губа по-прежнему носил ему воду. Постепенно и все взрослые мужчины, за исключением разве редких случаев, перестали носить себе воду, свалив это на женщин и подростков. Мы с Вислоухим жили одни. Мы таскали воду только сами себе и нередко подсмеивались над юными водоносами, когда их отрывали от игры, чтобы послать с тыквой к водопою.

Прогресс у нас шел очень и очень медленно. С детских лет и до конца своих дней, уже став взрослыми, мы постоянно играли, и игры взрослых мало чем отличались от игр детей — подобной страсти к игре не проявляло ни одно животное на свете. Все наши познания, как бы ни были они ничтожны, мы приобретали в процессе игры, многим мы были обязаны своему любопытству и проницательности. Так, за время, пока я жил в Племени, было сделано великое изобретение — применена тыква. На первых порах мы, подра-

жая старику Мозговитому, хранили в тыкве одну только воду.

Но вот однажды какая-то женщина — я не знаю, какая именно, — набрала в тыкву черники и принесла ее домой в пещеру. И скоро уже все женщины носили в тыквах и ягоды, и орехи, и коренья. Мысль была посеяна, и она давала всходы. Через недолгое время нововведение было развито, и развито теми же женщинами. У кого-то из них, вероятно, оказалась слишком маленькая тыква, а может, женщина, выйдя на болото, спохватилась, что забыла тыкву в пещере, но так или иначе, она сложила вместе два больших листа, скрепила их прутьями и принесла черники больше, чем могло бы поместиться в самой крупной тыкве.

Прогресс в усовершенствовании средств переноски съестных припасов за то время, пока я жил в Племени, на этом и остановился. Никому не пришло в голову взять ивовые прутья и сплести корзину. Правда, порой мужчины и женщины вязали в охапки папоротник и ветви, перетягивая их гибкой лозой, и несли эти охапки в пещеры, чтобы устроить себе помягче ночное ложе. Вполне возможно, что через десять — двенадцать поколений наше Племя научилось бы и

плести корзины. И совершенно ясно, что, обучившись плести из прутьев корзины, мы неизбежно сделали бы и следующий шаг — начали бы ткать одежду. Вместе с одеждой, которой мы прикрыли бы свою наготу, у нас появилось бы и чувство стыда.

Юный Мир всего этого к тому времени уже достиг. Но мы далеко отстали. Мы пока лишь тронулись в путь, и быстро покрыть такое расстояние мы не могли. Мы не знали еще ни оружия, ни огня, у нас были лишь грубые начатки речи. Изобретение письма таилось еще в таком отдаленном будущем, что, когда думаешь об этом, сердце холодеет от ужаса.

Однажды я сам едва не совершил великое открытие. Чтобы вы поняли, от каких вздорных случайностей зависел прогресс в те дни, я вам скажу, что лишь прожорливость Вислоухого помешала мне приручить собаку. Учтите, что в то время домашних собак еще не было даже у Людей Огня, живших на северо-востоке. Да, они еще не сумели приручить собаку, я это знал по своим собственным наблюдениям. А теперь позвольте рассказать, как обжорство Вислоухого отбросило наше социальное развитие, может быть, на несколько поколений назад.

Довольно далеко на запад от наших пещер были огромные болота, а с южной стороны тянулась гряда невысоких, каменистых холмов. К этим холмам мы почти никогда не ходили. Тому было две причины: во-первых, там не росло ничего такого, что годилось бы нам в пищу, во-вторых, на этих каменистых холмах укрывалось множество хищных зверей.

Однако мы с Вислоухим почти случайно однажды туда забрели. И забрели мы только потому, что дразнили тигра. Пожалуйста, не улыбайтесь. Это был сам старина Саблезубый. И мы не подвергали себя никакой опасности. Мы наткнулись на Саблезубого ранним утром в лесу и, сидя высоко на дереве, принялись улюлюкать и орать, всячески оскорбляя тигра и выражая к нему всю свою ненависть. Прыгая с дерева на дерево, мы неотступно гнались за Саблезубым и поднимали адский шум, чтобы известить о приближении Саблезубого всех обитателей леса.

Разумеется, мы испортили ему всю охоту. И мы здорово его разозлили. Он свирепо рычал, колотил хвостом, а порой замирал на месте и подолгу глядел на нас, словно бы прикидывая, каким образом добраться до нас и сцапать. Но мы только смеялись и швыряли в него сучья и ветки.

Такая травля тигров была у нас популярнейшим спортом. За тигром или львом, который осмеливался показаться близ наших пещер в дневное время, иногда гналась, прыгая по деревьям, половина Племени. Это была наша месть: ведь немало мужчин и женщин, застигнутых врасплох, попадало в желудок тигра или льва. Кроме того, подвергая хищников такой пытке и посрамлению, мы учили их уважать наши земли и держаться подальше от них. И, помимо всего прочего, это была истинная забава. Это была великая игра.

Мы с Вислоухим гнались за Саблезубым не меньше трех миль. Измученный издевательскими криками, он поджал наконец хвост и стал улепетывать от нас во всю прыть, как побитая собачонка. Мы тоже прилагали все усилия, чтобы не отстать от него, но когда мы достигли опушки леса, тигр был уже далеко.

Я не знаю, что именно подстрекало нас в ту минуту, скорей всего просто любопытство, но, поиграв немного на опушке леса, мы с Вислоухим направились через поляну к каменистым холмам. Ушли мы совсем недалеко, не больше сотни ярдов от леса. Огибая высокую угловатую скалу (шли мы очень осторожно, так как не знали, с

чем нам придется встретиться), мы увидели трех щенков, игравших на солнышке.

Щенки не замечали нас, и мы разглядывали их довольно долго. Разумеется, это были дикие щенки. В скале виднелась продольная расщелина — вероятно, там и было логово, где мать оставила этих щенков и где они и должны были бы сидеть, если бы проявили послушание. Но та ребяческая резвость, которая подтолкнула нас покинуть лес и выйти к холмам, заставила выбраться из логова и щенков. Мне было ясно, как сурово наказала бы расшалившихся щенков мать, если бы она поймала их на месте преступления.

Но поймали их мы, я и Вислоухий. Вислоухий выразительно взглянул на меня, и мы враз бросились к щенкам. Щенки знали лишь один путь отступления — к своему логову, но мы преградили им дорогу. Наиболее шустрый из них юркнул у меня промеж ног. Я наклонился и схватил его. Он вонзил свои маленькие острые зубки мне в руку, я растерялся и бросил щенка на землю. В следующее мгновение он уже был в расщелине скалы.

Вислоухий, не выпуская из рук своего щенка, метнул на меня сердитый взгляд и залопотал на все лады, давая мне понять, какой я безнадежный болван и растяпа.

Мне стало очень стыдно, и я решил показать свою доблесть. Не теряя ни секунды, я схватил третьего щенка за хвост. Он извернулся и цапнул меня зубами, но я усмирил его, сдавив ему шею. Разглядывая своих щенков, мы с Вислоухим уселись рядышком наземь и, очень довольные, громко хохотали.

Щенки урчали, скулили и тявкали. Вдруг Вислоухий вздрогнул и насторожился. Ему показалось, что он что-то слышит. Мы в страхе посмотрели друг на друга, осознав всю опасность своего положения. Нет более верного средства привести животное в бешенство, чем покуситься на его детенышей. А эти щенята, поднимавшие такой шум, были из породы диких собак. Диких собак мы хорошо знали — они бегали стаями, наводя ужас на всех травоядных. Мы видели, как они подкрадывались к стадам быков и бизонов и утаскивали маленьких телят, а также старых и больных животных. Не раз они гнались и за нами. Однажды мне довелось видеть, как они гнали через поле женщину и настигли ее у самой опушки леса. Не будь женщина так измучена погоней, она нашла бы силы проворно влезть на дерево. Но она сразу сорвалась и упала, и собаки тут же покончили с нею.

Мы смотрели друг на друга не больше мгновения. Крепко придерживая щенят, мы вскочили и бросились бежать к лесу. Потом, уже взобравшись на надежное, высокое дерево и не выпуская из рук добычи, мы весело расхохотались. Как видите, нам непременно надо было посмеяться, что бы с нами ни случилось.

А затем началось одно из самых трудных дел, на какие я когда-либо решался. Мы понесли своих щенят к пещерам. Щенята все время вырывались, руки у нас оказались занятыми, и мы уже не могли свободно цепляться за ветви. Мы попробовали идти по земле, но презренная гиена загнала нас обратно на деревья и шла внизу вслед за нами. Как выяснилось потом, она поступала мудро.

Вислоухого осенила мысль. Он вспомнил, как мы связывали в охапку листья и ветви и таскали их в пещеру на подстилку для ложа. Оторвав крепкий, упругий побег ползучего растения, он опутал им щенку лапы, а с помощью другого обрывка, повязав его себе на шею, закинул щенка за плечо. Руки и ноги Вислоухого были теперь свободны. Он торжествовал и, не дожидаясь, пока я свяжу ноги своему щенку, двинулся в путь. Но тут Вислоухий сразу же столкнулся с непредвиденным затруднением. Щенок за его спиной никак

не хотел успокоиться. Он всячески извивался и бился, оказавшись в конце концов не на спине Вислоухого, а где-то спереди. Морда у щенка была не перевязана, и он запустил свои зубы в мягкий, ничем не защищенный живот Вислоухого. Вислоухий вскрикнул и, пошатнувшись, чуть не упал с дерева, но спасся тем, что судорожно уцепился обеими руками за ветку. Импровизированный шнур вокруг его шеи развязался, и щенок, все еще со связанными лапами, полетел на землю. Его тут же схватила себе на обед гиена.

Вислоухий был вне себя от злости и возмущения. Он проклял гиену и двинулся по деревьям вперед, не дожидаясь меня. Я не отдавал себе отчета, зачем мне надо было тащить щенка домой, но мне так *хотелось*, и я упорно добивался своего. Воспользовавшись выдумкой Вислоухого, я внес в нее усовершенствования и тем значительно облегчил себе задачу. Я не только связал у щенка лапы, но вставил ему между челюстей палку и потом крепко опутал морду.

Наконец щенок был доставлен в Племя. Насколько я понимаю, я проявил на этот раз гораздо больше упорства, чем обычно проявляли мои соплеменники, иначе мне не добиться бы успеха. Соплеменники смеялись надо мной, когда я

тащил щенка в пещеру, но я не обращал на это внимания. Мои старания увенчались успехом, щенок был принесен. Он оказался такой игрушкой, какой не было ни у кого в Племени. Учение он воспринимал поразительно быстро. Если я играл с ним и он цапал меня зубами, я драл его за уши, и после этого он долгое время уже не пытался меня укусить.

Я даже полюбил его. Он был для меня чем-то новым, а мы вообще любили все новое. Когда я увидел, что он отказывается от плодов и овощей, я стал ловить для него птиц, белок и зайчат. (Сами мы ели как мясо, так и растительную пищу и великолепно ловили мелкую дичь.) Щенок поедал мои приношения и чувствовал себя превосходно. По моим расчетам, он жил у меня с неделю. А затем, возвратившись однажды в пещеру и принеся целое гнездо только что вылупившихся фазаньих птенцов, я увидел, что Вислоухий убил щенка и уже принялся его есть. Я кинулся на Вислоухого, и у нас завязалась жестокая драка.

Этой дракой и кончилась одна из первых попыток приручить собаку. Мы пучками вырывали друг у друга волосы, царапались, кусались, душили друг друга. Потом гнев у нас схлынул, и мы помирились. После этого мы съели щенка.

Сырым? Да, сырым. Огонь у нас еще не был открыт. Секреты кулинарного мастерства были еще начертаны лишь в туго скатанном свитке грядущего.

Глава IX

Красный Глаз был живым воплощением атавизма. В жизнь нашего Племени он вносил лишь раздор и неурядицы. Он был примитивнее любого из нас. По существу, он не был нашим, но сами мы были еще настолько примитивны, что не могли объединиться и убить его или изгнать из Племени. Как ни грубы, как ни первобытны были наши порядки, но Красный Глаз был чересчур груб и первобытен, чтобы ужиться с нами. Он вечно старался навредить нам, всячески выказывая свою строптивость и неуживчивость. Он, без сомнения, находился на более низкой ступени развития, чем мы, и его место было скорей среди Лесной Орды, чем среди нас, стоявших на пороге очеловечивания.

Он был чудовищно жесток, даже принимая во внимание всю жестокость наших нравов. Он бил своих жен — хотя у него всегда было лишь по одной жене, но женился он много раз. Жить с ним было невыносимо тяжело любой женщине, но они все-таки жили с ним, ибо он принуждал их к этому силой. Он не признавал ни малейших возражений. Не было ни одного мужчины, кото-

рый чувствовал бы себя способным укротить его.

Внутренним взором я часто вижу тихий летний вечер. Возвращаясь с водопоя, с полян, где растет морковь, с черничного болота, собирается на открытом поле у пещер наше Племя. Мы не задерживаемся здесь, потому что скоро наступит темнота, и тогда весь мир будет во власти хищных зверей, и прародители человека, трепеща от страха, скроются в своих норах.

Несколько минут мы еще можем посидеть на свежем воздухе, не залезая в пещеры. За день мы устали от своих игр, наши голоса звучат спокойнее и тише, чем обычно. Даже малыши, столь охочие до каверз и шалостей, присмирели и почти не играют. Ветер, дувший с моря, утих, тени при свете последних лучей солнца становятся необыкновенно длинными. И вдруг в пещере Красного Глаза раздаются дикие крики и звук тяжелых ударов: Красный Глаз бьет свою жену.

Сначала мы все, словно в испуге, храним тягостное молчание. Но звуки ударов и ужасные крики не прекращаются, и мы начинаем лопотать и тараторить, как сумасшедшие, — нас душит бессильная ярость. Мужчины возмущены Красным Глазом, они ненавидят его, но страшатся поднять на него руку. Наконец звуки ударов

стихли, рыдания замерли, а мы все еще не расходимся и лопочем, хотя уже на землю спускаются сумерки.

Нас забавляло и смешило обычно все на свете, но когда Красный Глаз истязал своих жен, мы не смеялись. Мы понимали, какая трагическая судьба им уготована. Не один раз мы находили его жен, сброшенных с утеса. Красный Глаз, когда у него умирала жена, выбрасывал ее из пещеры и никогда не хоронил. Он предоставлял это нам. Мы уносили трупы его жен, чтобы они не заражали местность. Обычно мы бросали их в реку ниже наших водопоев.

Красный Глаз не только убивал жен, но шел на убийство и для того, чтобы добыть их. Если он хотел привести себе новую жену и ему нравилась жена другого мужчины, он убивал его без долгих проволочек. Два таких случая я видел своими глазами. Об этих убийствах знало все Племя, но воспрепятствовать им не могло. Мы еще понятия не имели, что такое власть. У нас были лишь обычаи, и мы обрушивали наш гнев на тех, кто эти обычаи нарушал. Так, например, каждого, кто осквернит водопой, мог отколотить любой очевидец, а если находился шутник, поднявший ложную тревогу, то его, не жалея сил, били все

сообща. Но Красный Глаз грубо попирал все наши обычаи, а мы так боялись его, что были не способны на совместные действия и не могли дать ему отпор.

Живя с Вислоухим в нашей пещере уже шестую зиму, мы убедились однажды, что мы сильно выросли. Мы теперь еле пролезали в пещеру — вход в нее стал нам узок. Но это имело и свои преимущества: отбивало охоту у взрослых мужчин выгнать нас и занять нашу пещеру. А она была очень привлекательна — на самом верху утеса, в полной безопасности, и зимой в ней было теплее, чем в других пещерах.

Чтобы показать уровень умственного развития Племени, я отмечу, что выгнать нас из пещеры и расширить вход в нее было бы делом весьма несложным. Но до этого никто не додумался. Не додумались до этого и мы с Вислоухим, пока нас не заставила настоятельная нужда. Летом от обильной еды мы так растолстели, что уже не пролезали в пещеру. Однажды, пыхтя, мы старались протиснуться в проход, и тогда-то у нас появилась эта чудесная мысль.

Сначала мы отковыривали мелкие камни пальцами, но скоро от этой работы у нас заболели ногти. Потом мне пришло в голову взять в руки

древесный обломок, и дело пошло гораздо лучше. Но этот же наш успех привел и к беде. Как-то рано утром мы наломали целую кучу мелкого щебня. Я разом столкнул его вниз. В следующее мгновение оттуда послышались яростные крики. Смотреть, кто кричит, не было необходимости. Мы слишком хорошо знали этот голос. Щебень свалился на голову Красному Глазу.

Мы затаились в пещере, оцепенев от страха. Минуту спустя он уже был у входа, уставясь на нас воспаленными глазами и рыча, как дьявол. Но войти внутрь он не мог: проход был слишком узок. Мы оказались для него недосягаемы. Вдруг он повернулся и исчез. Это внушило нам подозрения. Насколько мы знали натуру наших соплеменников, он должен был бы остаться и побушевать вволю. Я тихонько выбрался наружу и посмотрел вниз. Я увидел, что Красный Глаз вновь взбирается на утес. В руках у него была длинная палка. Я еще не успел разгадать его намерения, как он опять был у входа и совал палку в пещеру, стараясь ею достать нас.

Он орудовал своей палкой с чудовищной силой. С одного полновесного удара он мог бы выпустить нам кишки. Мы прижались к задней стене и были почти недосягаемы. Однако, пустив в ход

всю свою ловкость, он нет-нет да и доставал до нас кончиком палки — ее неумолимые, варварские прикосновения сдирали с нас клочья волос и кожи. Когда мы визжали от боли, Красный Глаз удовлетворенно рычал и действовал своей палкой с еще бóльшим ожесточением.

Постепенно я приходил в ярость. У меня уже выработался к тому времени свой характер и была известная смелость, хотя она и напоминала смелость затравленной крысы. Я схватился за палку Красного Глаза руками, но он, с его страшной силищей, тут же вытащил меня в проход. Он протянул ко мне свои длинные руки и ногтями вырвал у меня кусок мяса, я резко отскочил назад и приник к боковой стене, где было сравнительно безопасно.

Красный Глаз снова начал тыкать и размахивать палкой и нанес мне сильный удар по плечу. Вислоухий лишь дрожал от страха, взвизгивал, когда его доставала палка, и не оказывал ни малейшего сопротивления. Я искал глазами тоже какую-нибудь палку, чтобы дать отпор Красному Глазу, но нашел только обломок ветки не больше фута длиной и в дюйм толщиной. Я швырнул этот обломок в своего врага. Это не причинило ему вреда, но, видя, что я осмелел, он взревел громче

прежнего и начал бешено вращать палкой. Тогда я нащупал на полу небольшой камень, кинул его и попал Красному Глазу в грудь.

Этот успех воодушевил меня, а кроме того, я был теперь в таком же бешенстве, как и Красный Глаз, и уже ничего не страшился. Я отломил от стены порядочный кусок камня. В нем было фунта два или три весу. Напрягая все свои силы, я метнул его прямо в лицо Красному Глазу. Я едва его не прикончил. Он покачнулся назад, выпустил из рук палку и еле-еле не свалился с утеса.

Вид его был ужасен. По лицу текла кровь, он рычал, скрежетал и щелкал зубами, как дикий вепрь. Вытерев кровь с глаз, он опять взглянул на меня и заорал во всю глотку. Палки у него уже не было, и он принялся отламывать куски камня и кидать в меня. Это пополняло мои боевые запасы. Каждый камень, прилетевший от него, летел в него обратно, причем я кидал даже более метко: в такую большую мишень, как он, попасть было нетрудно, а я все время прижимался к стене, и Красный Глаз видел меня плохо.

И вдруг он исчез снова. Выглянув наружу, я увидел, что он спускается с утеса. Внизу толпой стояло все Племя и молча наблюдало за нашим побоищем. Как только Красный Глаз начал спус-

каться с утеса, наиболее робкие из Племени скрылись в своих пещерах. Среди них я заметил и Мозговитого: он трясся и ковылял, выказывая крайнюю поспешность. Красный Глаз спрыгнул со стены, покрыв этим прыжком те двенадцать футов, которые отделяли его от подножия утеса. Случайно он оказался рядом с женщиной, только что начавшей подниматься вверх к пещерам. Она завопила от страха, а цеплявшийся за нее двухлетний ребенок разжал ручонки, упал и покатился по каменьям. Оба — и мать и Красный Глаз — одновременно кинулись к ребенку, но схватил его Красный Глаз. Маленькое тельце мелькнуло в воздухе и ударилось о каменную стену. Мать подбежала к ребенку, взяла его на руки и, рыдая во весь голос, села наземь.

Красный Глаз пошел дальше, он искал потерянную палку. По дороге ему попался Мозговитый. Красный Глаз протянул свою огромную ручищу и схватил старика сзади за шею. Я видел, как мотнулась и упала голова Мозговитого. Его тело сразу обмякло, старик сдался на волю судьбы. Красный Глаз секунду стоял в нерешительности, а Мозговитый, дрожа, согнулся и прикрыл лицо скрещенными руками. Красный Глаз крепко шлепнул его по затылку и сбил с ног. Мозго-

витый ткнулся лицом в землю, не оказывая сопротивления. Он лежал и вопил, ожидая смерти. Неподалеку, на открытом месте, я увидел Безволосого: весь ощетинившись, тот колотил себя в грудь, но приблизиться к Красному Глазу не решался. Затем Красный Глаз, подчиняясь какому-то капризу своей сумасбродной натуры, отошел от старика и опять стал искать свою палку, которая наконец нашлась.

Он снова вернулся к утесу и начал взбираться вверх. Вислоухий, выглядывавший наружу из-за моего плеча, дрожа, нырнул в пещеру. Было ясно, что Красный Глаз решился на убийство. Во мне кипела злость, я не трусил и сохранял самообладание. Обежав соседние выступы, я собрал много камней и сложил их грудой у входа в пещеру. Красный Глаз был теперь на несколько ярдов ниже меня и на миг скрылся за выступом. Потом его голова показалась вновь, и я метнул в нее камень. Я промахнулся, камень ударился в стену и разлетелся на мелкие крошки; эти крошки и взметнувшаяся пыль засорили моему противнику глаза, и он скрылся из виду.

Племя, как бы игравшее роль аудитории, залопотало и захихикало. Наконец-то нашелся смельчак, который бросил вызов Красному Глазу!

Слыша этот шум и одобрительные восклицания, Красный Глаз, ворча, поглядел вниз, и все сразу стихли. Гордый таким доказательством своей силы, он опять высунул голову и, рыча и скрежеща зубами, пытался устрашить меня. Он строил ужасающие мины; кожа на его надбровье шевелилась и набухала бугристыми складками, а каждый волос на голове до самой макушки грозно встал и устремился вперед.

У меня похолодело сердце, но я превозмог страх и погрозил ему камнем. Красный Глаз продолжал, однако, лезть вверх. Я метнул в него камень, но даже не задел его. Следующий камень я швырнул удачнее. Он попал ему в шею. Красный Глаз скользнул вниз и скрылся. Минуту спустя я увидел, как он одной рукой цепляется за стену, а другую держит у себя на горле. Палка его, дребезжа, скатилась вниз.

Затем Красный Глаз скрылся из виду, я лишь слышал, как он сопел, отдувался и кашлял. Среди Племени воцарилась мертвая тишина. Я подполз к краю площадки у входа и ждал, что будет дальше. Наконец пыхтенье и кашель прекратились, но вскоре я опять услышал, как Красный Глаз харкал, прочищая глотку. Через минуту он начал спускаться вниз. Спускался он очень медленно,

то и дело останавливаясь и прикладывая руку к шее.

Увидя, что он спускается, все Племя с дикими криками и визгом бросилось бежать к лесу. Позади всех, прихрамывая, ковылял старик Мозговитый. Красный Глаз на это всеобщее бегство не обратил никакого внимания. Спустившись на землю, он обогнул подножие утеса и забрался в свою пещеру. Он ни разу не оглянулся, ни разу не поглядел по сторонам.

Я смотрел на Вислоухого, Вислоухий смотрел на меня. Мы понимали друг друга. Не теряя ни минуты, мы осторожно и спокойно стали взбираться вверх по утесу. Достигнув вершины, мы посмотрели вниз. И поле и пещеры — все было пусто. Племя исчезло, углубившись в лес, дома остался один Красный Глаз.

Мы живо спустились вниз и побежали. Мы неслись по полю со всех ног, прыгали по откосам, даже не думая о таившихся в траве змеях, и скоро были уже в лесу. Стремительно перелетая с ветки на ветку, теперь мы шли по деревьям, пока не удалились от наших пещер на несколько миль. Только тогда мы почувствовали себя в безопасности и, облюбовав удобный развилок дерева, перевели дух, посмотрели друг на друга и

расхохотались. Крепко прижимаясь друг к другу, положив руки на руки, с мокрыми от слез глазами, ощущая саднящую боль в боках, мы хохотали и хохотали, не в силах остановиться.

Глава X

Насмеявшись вдоволь, мы с Вислоухим снова пустились в путь и, сделав большой крюк, вышли на болото с черникой, где и позавтракали. Это было то самое болото, к которому я ходил, совершая свои первые в жизни путешествия много лет назад в сопровождении матери. За последние годы я видел ее очень редко. Когда она приходила к нашим пещерам, я обычно был в отлучке, в лесу. Раз или два я замечал на нашем поле у пещер и Болтуна и имел удовольствие состроить ему рожу и позлить его, сидя подле входа в свое крохотное убежище. Если не брать в расчет этих знаков внимания, в остальном я свое семейство не беспокоил. Я просто не интересовался им, я неплохо себя чувствовал, обходясь и без него.

Досыта наевшись черники и проглотив на десерт два гнезда почти вылупившихся перепелят, мы с Вислоухим снова тронулись в путь. Решив выбраться к реке, мы, осторожно озираясь, шли по лесу. Именно в этих местах стояло дерево, на котором я жил ребенком и с которого меня сбросил Болтун. Нет, дерево не пустовало. И в семействе было прибавление: к груди моей ма-

тери крепко прижимался младенец. На одной из нижних веток сидела девушка, уже почти взрослая, — она посмотрела на нас весьма подозрительно. Это была, несомненно, моя сестра, вернее, единоутробная сестра.

Мать узнала меня, но отогнала прочь, когда я полез было на дерево. Вислоухий, проявлявший всегда куда бóльшую осторожность, чем я, сразу ретировался, и я никак не мог уговорить его подойти поближе. Сестра скоро спустилась вниз, и здесь на соседних деревьях мы резвились и играли до вечера. Однако дело не обошлось без ссоры. Хотя она была мне сестрой, это ничуть не мешало ей отвратительно обращаться со мною, ибо она унаследовала весь злобный нрав Болтуна. Придравшись к какой-то вздорной мелочи, она неожиданно напала на меня, стала царапаться, выщипывать у меня волосы и, помимо этого, запустила свои острые маленькие зубы мне в руку. Признаюсь, я вспылил. Я не нанес ей никакого членовредительства, но отшлепал ее так, как, наверное, ее еще не шлепали во всю жизнь.

Ну и завопила же она и завизжала! Болтун, где-то блуждавший весь день и только сейчас возвращавшийся, услышал ее крики и кинулся к нам. Кинулась к нам и мать, но Болтун опере-

дил ее. Мы с Вислоухим не стали его ждать. Мы бросились наутек по деревьям, и Болтун долго преследовал нас.

После того как он утомился и отстал, а мы вдоволь нахохотались, в лесу уже начало темнеть. Наступали сумерки, а затем ночь со всеми ее страхами, но о возвращении к пещерам нельзя было и думать. Это было немыслимо из-за Красного Глаза. Мы нашли себе убежище на дереве, и на высоких его ветвях провели ночь. Это была ужасная ночь. Сначала несколько часов лил дождь, потом нас до костей пробирал холодный ветер. Мокрые с головы до ног, дрожащие, стуча от холода зубами, мы плотно прижимались друг к другу. Мы тосковали по своей уютной, сухой пещере, которая быстро нагревалась от тепла наших тел.

Утро застало нас в жалком состоянии, но полными решимости. Такой ночевки, как эта, мы больше не допустим. Вспомнив, как наши старшие устраивали на деревьях крышу, мы принялись за работу. Мы соорудили основание грубого гнезда, а на ветвях, росших выше его, даже поставили несколько суков для крыши. Тут взошло солнце, и, согретые его теплыми лучами, мы забыли перенесенные невзгоды и отпра-

вились на поиски завтрака. После этого — так нелогичны были все наши действия в те времена — мы увлеклись игрою. Мы то трудились, то бросали работу; устройство надежного убежища на этом дереве отняло у нас не меньше месяца, а покинув эти места, мы потом на наше дерево уже не возвращались.

Но я забегаю вперед. Когда мы, на второй день нашего бегства из пещер, стали после завтрака играть, Вислоухий, прыгая по деревьям, увлек меня к реке. Минуя черничное болото, мы вышли к реке в том месте, где с ней соединялась обширная топь. Топь эта широким устьем выходила прямо в реку, вода в топи была фактически стоячей. В этой мертвой воде, в самом устье топи, в хаотическом беспорядке лежало множество древесных стволов. Немало их было занесено сюда половодьем; пролежав на песчаных перекатах не одно лето, они хорошо просохли и были гладкие, без веток и сучьев. Они плавали в воде почти без осадки, крутясь и перевертываясь, когда мы ложились на них грудью.

Вглядываясь в воду, мы увидели, что между стволами плавает, проворно шныряя туда и сюда, стайка мелкой, вроде гольяна, рыбы. И вот мы с Вислоухим уже стали рыболовами. Вытянув-

шись вдоль ствола, мы замирали без движения и ждали, когда подплывет рыба, а потом хватали ее молниеносным движением руки. Скользкая рыба билась и трепетала; мы поедали ее тут же. В соли мы не чувствовали никакой нужды.

Устье болот и топи стало любимым местом наших игр. Здесь мы проводили много часов ежедневно, ловили рыбу, барахтались на стволах, и здесь же мы получили первые уроки плавания. Однажды бревно, на котором лежал Вислоухий, двинулось по течению. И тут оказалось, что Вислоухий мирно на нем спит. Когда я это заметил, бревно уж отплыло слишком далеко, и прыгнуть на него было невозможно.

Сначала вся эта история меня только забавляла. Но скоро во мне шевельнулось чувство страха, столь обычное в те времена постоянной опасности и неуверенности, — и я остро ощутил, что остался один. Мне подумалось вдруг, что эта чуждая стихия, отделявшая меня от Вислоухого всего на несколько футов, унесла его далеко-далеко. Я издал громкий предостерегающий крик. Он в испуге проснулся и резко покачнул бревно. Оно перевернулось на другой бок, и Вислоухий погрузился в воду. Трижды перевертывалось бревно, и трижды Вислоухий погружался в воду, стараясь

вновь вскарабкаться на бревно. Наконец он влез на него и залопотал, полный смятения и страха.

Я ничем не мог ему помочь. Сам он был тоже бессилен. О плавании мы в ту пору не имели и представления. От низших форм животного мира мы уже ушли слишком далеко и поэтому инстинктивным умением плавать не обладали, но мы еще недостаточно приблизились и к человеку, чтобы сознательно выработать это умение. В отчаянии я метался по берегу, стараясь держаться поближе к Вислоухому, а он, плывя на своем бревне, плакал и кричал во весь голос — надо удивляться, как еще не сбежались на его крики все хищные звери ближайших мест.

Время шло. Солнце поднялось уже над самой головой и начало спускаться к западу. Легкий ветер стих. Вислоухий со своим бревном был теперь в сотне футов от берега. И тут каким-то образом — я даже не знаю как — Вислоухий сделал великое открытие. Он начал грести руками. Сначала бревно двигалось медленно и неуверенно. Затем Вислоухий вытянулся на бревне и стал грести старательней, бревно подплывало к берегу ближе и ближе. Я ничего не понимал. Я сидел на земле и глядел на Вислоухого, пока он не добрался до берега.

Мне все еще было невдомек, что произошло, но Вислоухий научился чему-то, неведомому мне. Позже, перед закатом солнца, он уже нарочно лег на бревно и отплыл от берега. Потом он уговорил последовать его примеру меня, и я тоже постиг тайну гребли. Несколько дней мы буквально только и знали, что возиться с бревнами в устье топи. Мы так увлеклись своей новой игрой, что забывали о еде. Даже на ночь мы устраивались на дереве, которое росло поблизости от этих мест. И мы совсем забыли о существовании Красного Глаза.

Мы пробовали плавать все на новых бревнах и скоро уяснили себе, что чем меньше бревно, тем быстрее оно двигается. Мы поняли также, что чем меньше бревно, тем сильнее оно крутится, окуная нас в воду. И еще одну вещь мы узнали относительно малых бревен. Однажды я и Вислоухий плыли рядом, каждый на своем бревне. И вот случайно, в игре, мы обнаружили, что если уцепиться за соседнее бревно одной рукой и одной ногой, то оба бревна становятся устойчивее и не так сильно вертятся. Лежа бок о бок на своих бревнах, мы вполне могли грести свободными руками и ногами. Наше последнее открытие заключалось в том, что, используя этот

прием, мы могли плавать на совсем маленьких бревнах и, следовательно, развивать большую скорость. Но тут наши открытия и кончались. Мы изобрели, таким образом, примитивный катамаран, хотя мы и не догадывались об этом. Связать бревна крепкой лозой или древесными корнями нам не приходило в голову. Нам было довольно и того, что мы соединяли бревна, придерживая их своими руками и ногами.

С Быстроногой мы встретились уже после того, как у нас прошло бурное увлечение плаванием на бревнах и мы стали ходить на ночевку к тому дереву, на котором соорудили крышу. Однажды она рвала желуди на высоком дубе поблизости от нашего дерева, и тут я впервые ее увидел. Она казалась очень робкой. Она спокойно занималась своим делом, но, убедившись, что мы обнаружили ее, молниеносно спрыгнула на землю и убежала. Потом время от времени она попадалась нам на глаза, и мы обычно искали ее всякий раз, когда шли от своего дерева к устью топи.

И вот случилось так, что в один прекрасный день она уже не убежала от нас. Напротив, она стояла и ждала нас, издавая мирные, нежные звуки. Однако и тут мы не смогли подойти к ней. Когда мы были от нее уже совсем близко,

она неожиданно отскочила в сторону и, остановившись, опять издала нежные звуки. Так продолжалось в течение нескольких дней. Мы свели с ней знакомство лишь по прошествии долгого времени, но когда знакомство состоялось, она стала порою принимать участие в наших играх.

Она понравилась мне с первого взгляда. У нее была очень приятная внешность. Она была очень кроткой. У нее были самые добрые, мягкие глаза, какие я когда-либо видел. Этим она очень отличалась от всех девушек и женщин нашего Племени — те были сварливы и злобны. Она никогда не кричала, не гневалась, а в случае какой-нибудь неприятности была готова скорей уклониться и бежать, чем ввязываться в драку.

Эта кротость и мягкость, казалось, исходили из всего ее существа. Об этом говорил весь ее облик. У нее были большие, больше, чем у других девушек, глаза, не столь глубоко посаженные в орбитах, ресницы были длиннее и ровнее. И нос ее был тоже не таким толстым и плоским, и уже намечалась переносица, а ноздри были обращены вниз. Резцы были небольшие, верхняя губа не нависала, а нижняя не выдавалась вперед. Она была не очень волосата, густые волосы росли у

нее только на внешней стороне рук и ног, а также на плечах; бедра у нее были стройные, легкие, а икры без всяких бугров и шишек.

Когда она грезилась мне, человеку двадцатого века, в моих снах, я всегда дивился на нее и думал, что она принадлежала, по-видимому, к Людям Огня. Ее отец или мать вполне могли происходить из этой высшей породы. Хотя подобные вещи в ту пору были очень редки, но они все же случались. Я наблюдал сам, как кое-кто из моих соплеменников оставлял наши пещеры и уходил жить в Лесную Орду.

Впрочем, речь сейчас идет не об этом. Быстроногая резко отличалась от любой женщины нашего Племени, и она поразила меня с первого взгляда. Меня привлекали к ней ее кротость и благородство. Она никогда не ругалась, никогда не дралась. Она всегда быстро уносилась прочь, и, вероятно, этому и была обязана своим именем. По деревьям она лазала лучше, чем я или Вислоухий. Играя в салки, мы были не в силах поймать ее, разве только чудом, случайно, а она ловила нас, когда хотела. Она была удивительно проворна во всех своих движениях и обладала истинным даром определять расстояния. Отвага ее не знала границ. На редкость робкая в обращении, она не

ведала страха, когда дело доходило до лазания или бега по деревьям. Вислоухий и я были по сравнению с нею неуклюжи, нерасторопны и трусливы.

Она была сиротой. Мы видели ее всегда одинокой, и до нас не доходило никаких сведений, был ли у нее кто-нибудь из близких и когда это было. Должно быть, она еще с младенчества поняла, что спасение и безопасность можно найти только в бегстве. Она была очень умна и очень скрытна. Дознаться, где она живет, — это стало для нас с Вислоухим своеобразной игрой. Было совершенно ясно, что она обосновалась где-то на дереве, неподалеку от нас, но все наши старания выследить ее и найти ее гнездо так ни к чему и не привели. Она охотно играла с нами в дневное время, но тайну своего жилища берегла самым ревнивым образом.

Глава XI

Следует помнить, что описание Быстроногой, только что набросанное мною, вовсе не то, которое дал бы ей Большой Зуб, второе «я» моих снов, мой доисторический предок. Человек двадцатого века, я смотрю глазами Большого Зуба и вижу глазами Большого Зуба только в своих ночных сновидениях.

Это относится в разной мере и ко всем событиям тех отдаленных времен, о которых я рассказываю. Есть в моих впечатлениях некая раздвоенность, и она может смутить читателя. Я должен ненадолго прервать свое повествование и рассказать об этой раздвоенности, об этом вызывающем недоумение наличии во мне двух разных существ. Я, человек современности, оглядываюсь назад через многие века и взвешиваю и анализирую чувства и переживания Большого Зуба, моего второго «я». Сам он не затруднял себя этим. Он был прост, как сама простота. Он жил, безраздельно отдаваясь потоку событий и даже не задумываясь, почему он поступает именно так, а не иначе.

Когда я, реальный человек двадцатого века, стал старше, я все больше и больше вникал в

сущность и значение своих снов. Обычно, когда снится сон, вы даже в разгар этого сна сохраняете ощущение, что вы спите, и, если сон дурной и неприятный, утешаете себя мыслью, что все это только во сне. Это присуще всем и каждому. Подобным образом и я, живой и реальный, погружаясь в свои сновидения, испытываю раздвоение личности и нередко бываю актером и зрителем в одно и то же время. И тогда я, живой и реальный, часто возмущаюсь легкомыслием, безрассудством, нелогичностью и подчас невообразимой глупостью самого себя — первобытного.

Скажу еще несколько слов, прежде чем вернуться к рассказу. Снилось ли когда-нибудь вам, что вы видите сон? Сны снятся собакам, снятся лошадям, снятся всем животным. Во времена Большого Зуба получеловеку тоже снились сны, и если сны были дурные, он тоже стонал и мучился. И вот я, живой и реальный, спал вместе с Большим Зубом и видел его сны.

Я знаю, что все это покажется вам непостижимым, но это было именно так. И позвольте мне заверить вас, что когда Большому Зубу снилось, как он летит по воздуху или как он ползет, подобно змее, то его сновидения были не менее живы и ярки, чем ваши, когда вам снится, будто вы

падаете с высоты.

Ведь и в Большом Зубе тоже жило его второе «я», это второе «я» уносилось в своих сновидениях далеко назад, в седое прошлое, к летающим ящерам, вступавшим в схватку с драконами, потом к шнырявшим по земле, словно мыши, мелким млекопитающим, а потом в самую далекую даль — к прибрежной живой слизи первобытных морей. Я не могу, не смею говорить больше. Все это слишком неясно, сложно и жутко. Я могу лишь передать вам ощущение тех огромных, ужасающих глубин, сквозь которые я вглядывался, еле видя, словно в тумане, как развивалась жизнь от ступеньки к ступеньке — не только от обезьяны к человеку, но и от червя к обезьяне.

А теперь вернемся к моему рассказу. Я, Большой Зуб, не видел у Быстроногой ни ее стройного тела, ни ее нежного лица с большими глазами, ни ее длинных ресниц, я не видел ни переносицы, ни обращенных вниз ноздрей, словом, ничего такого, что делало ее красивой. Я видел в ней только молодую самку с добрыми глазами, которая издавала нежные звуки и никогда не дралась. Не знаю почему, но мне нравилось играть с нею, искать вместе с нею еду и зорить птичьи гнезда. И, должен признаться, в искусстве лазать по

деревьям я многому научился у нее. Она была очень сообразительна, очень сильна, и никакие юбки не стесняли ее движений.

Приблизительно в это время несколько остыла наша дружба с Вислоухим. Виноват в этом был только он. Он повадился прогуливаться в ту сторону, где жила моя мать. У него возникла склонность к моей зловредной сестрице, а Болтун проявлял к нему благожелательство. Кроме того, Вислоухий стал играть еще с несколькими юнцами, детьми единобрачных пар, которые жили поблизости.

Я никак не мог уговорить Быстроногую, чтобы мы играли все вместе. Всякий раз, как мы с ней приближались к ним, она пряталась за моей спиной и исчезала. Однажды я убеждал ее из всех своих сил. Но она лишь беспокойно оглядывалась назад, потом убежала и, забравшись на дерево, стала кликать меня. Таким образом, я уже не мог сопровождать Вислоухого, когда он шел к своим приятелям.

Мы с Быстроногой давно уже стали добрыми друзьями, но, сколько я ни старался, разыскать ее убежище мне не удавалось. Нет сомнения, что, если бы не произошло ничего чрезвычайного, мы стали бы жить брачной парой, ибо склонность

у нас была взаимной, но все случилось совсем иначе.

Как-то утром — Быстроногая тогда не пришла — мы с Вислоухим были у устья топи и забавлялись своими бревнами. Едва мы отчалили от берега, как вдруг сзади нас раздалось чудовищное, яростное рычание. Это был Красный Глаз. Он затаился у кучи бревен и с ненавистью глядел на нас. Мы смертельно перепугались: ведь пещеры с узким входом, чтобы укрыться от него, теперь не было. Однако двадцать футов воды, отделявшие нас от берега, временно защищали нас, и мы сразу обрели смелость.

Красный Глаз выпрямился во весь рост и начал колотить себя в грудь кулаками. Мы же, сидя на бревнах рядом друг с другом, стали смеяться над ним. Сначала мы смеялись чуть-чуть принужденно, с затаенным страхом, но как только нам стало ясно, что Красный Глаз в данном случае бессилен, мы уже хохотали неудержимо, от всего сердца. Он ярился и прыгал, скаля на нас зубы в бессильной злобе. А мы, воображая себя в безопасности, продолжали над ним издеваться и дразнить его. Истые дети Племени, мы никогда не видели дальше своего носа.

Прекратив бить себя в грудь и скалить зубы,

Красный Глаз внезапно кинулся от кучи бревен к берегу. Мы перестали смеяться и замерли в страхе. Красный Глаз был не из тех, кто легко забывает обиды и не старается отомстить. Дрожа, мы ждали, что произойдет. Начать грести и отплыть подальше нам не пришло и на ум. Красный Глаз вернулся к куче бревен, огромным прыжком перемахнул через нее и вышел оттуда, держа в своей вместительной пятерне множество круглых, окатанных водой голышей. Хорошо еще, что ему не подвернулись под руку метательные снаряды покрупнее, к примеру, камни весом в два-три фунта, потому что мы были от берега не дальше чем на двадцать футов, и он, без сомнения, убил бы нас.

Но и теперь мы оказались не в малой опасности. З-з-з! Голыш просвистел над нами с такой силой, словно это была пуля. Вислоухий и я судорожно принялись грести. З-з-з! Бац! Вислоухий вскрикнул от внезапной боли. Камень ударил его меж лопаток. Потом досталось и мне, я тоже визжал, как ребенок. Нас спасло лишь одно — у Красного Глаза кончились боевые припасы. Он побежал назад, чтобы набрать голышей снова, но мы с Вислоухим за это время отплыли дальше.

Постепенно мы удалились настолько, что уже

не боялись снарядов Красного Глаза, хотя он все бегал за кучу бревен, пополняя свои запасы, и очередной голыш нет-нет да и свистел у нас над головою. Там, где топь соединялась с рекой, в середине устья, было слабое течение, и мы, следя за Красным Глазом, даже не заметили, что нас сносит в реку. Мы усердно гребли, а Красный Глаз, не отступая, шел за нами по берегу. Вдруг он наткнулся на груду крупных камней. Это оружие сильно увеличило дальность его обстрела. Один камень, не менее пяти фунтов весу, попал в мое бревно и ударил с такой силой, что от бревна полетели острые, как иглы, щепки и вонзились мне в ногу. Если бы камень угодил в меня, мне пришел бы конец.

А потом нас подхватило течение реки. Мы гребли так неистово, что и не заметили, как понесло наши бревна, нас известил об опасности лишь торжествующий крик Красного Глаза. Там, где течение пересекало стоячую воду, образовалось несколько небольших водоворотов. В них-то и попали наши неуклюжие бревна, начав бешено крутиться и вертеться во все стороны. Мы бросили грести и старались только, не щадя своих сил, удержать бревна рядом. Тем временем Красный Глаз продолжал нас бомбардировать, камни

падали буквально рядом, заливая нас брызгами и угрожая жизни. Красный Глаз пожирал нас взглядом и испускал дикие, злорадные крики.

Оказалось, что у самого устья топи река делала крутой изгиб, и ее течение тут было устремлено к противоположному берегу. К этому-то берегу — он был с северной стороны — быстро нас и прибивало, хотя одновременно мы и спускались вниз по реке. Таким образом мы скоро вышли из-под обстрела Красного Глаза, и, взглянув на него издалека в последний раз, увидели, как он выбежал на небольшой мыс и прыгал и приплясывал, издавая торжествующий, победный клич.

Мы только придерживали бревна, не давая им разойтись, — этим теперь ограничивались все наши заботы. Мы отдались на волю судьбы и бездействовали до тех пор, пока не заметили, что находимся довольно близко от северного берега — не дальше, чем на сотню футов. Мы принялись грести, стараясь причалить к берегу. Но тут течение реки резко поворачивало к южному берегу, так что в результате наших усилий мы преодолели это течение именно там, где оно было наиболее узким и стремительным. Пока мы сообразили, что это так, уже оказались в спокойном месте.

Наши бревна медленно плыли и наконец тихонько пристали к берегу. Мы с Вислоухим ступили на землю. Бревна подхватила волна и вновь потянула их вниз по течению. Мы смотрели друг на друга, но на этот раз не смеялись. Мы были на новой, неведомой земле, и у нас даже не закрадывалась мысль, что мы можем вернуться в свои места тем же самым способом, каким очутились здесь.

Сами того не сознавая, мы научились переправляться через реку. Это еще не удавалось никому из Племени.

Мы были первыми из всех наших соплеменников, кто ступил на северный берег реки, первыми и, я полагаю, последними. Нет сомнения, что пришел бы срок, и Племя достигло бы этого, но нашествие Людей Огня ипоследующее переселение остатков Племени остановило наше развитие на целые века.

В самом деле, трудно перечислить все бедствия, которые принесло нашествие Людей Огня. Лично я склонен думать, что именно в этом заключается причина гибели нашего Племени, — мы, ответвление низшей породы, развивающейся в человека, были совершенно истреблены и уничтожены, нас захлестнуло и смыло буйным

прибоем там, где река впадала в море. Должен признаться, что погибли не все: я уцелел и выжил, и мне придется об этом рассказать, но я забегаю вперед, я расскажу об этом позднее.

Глава XII

У меня нет ни малейшего представления, долго ли мы с Вислоухим бродили по северному берегу реки. Мы были словно моряки, выброшенные после кораблекрушения на необитаемый остров, — на возвращение домой у нас почти не оставалось никаких надежд. Мы ушли от реки в глубь берега и несколько месяцев странствовали по глухим, диким местам, не встретив ни одного существа, которое было бы похоже на нас. Мне трудно говорить об этих странствованиях, и нет никакой возможности рассказать о них более или менее подробно, день за днем. Многое я вижу смутно, как в тумане, в памяти ярко вспыхивают лишь редкие картины и пережитые в ту пору приключения.

Особенно хорошо помню я голод, который мы терпели в горах между Длинным и Дальним озерами, помню и то, как мы захватили в чащобе спящего теленка. В дебрях между Длинным озером и горами жила Лесная Орда. Она-то и загнала нас в горы, вынудив пробираться к Дальнему озеру.

На первых порах, после того как мы ушли от

реки, мы двигались все время к западу и попали к небольшому потоку, протекавшему в болотистой местности.

Здесь мы повернули на север и, огибая болота, достигли через несколько дней озера, которое я называю Длинным. У верхней его окраины мы жили довольно долго, там мы в изобилии находили себе пищу. Но наступил день, когда мы в глухих зарослях столкнулись с Лесной Ордой. Это были обезьяны, дикие обезьяны — ничего больше. И все-таки они не отличались от нас так уж сильно. Растительность на них была гуще, это верно, ноги у них были чуть кривее и шишковатее, чем у нас, глаза немного меньше, шеи немного толще и короче, а ноздри чуть явственнее, чем наши, напоминали дыры. Но у них не росло волос ни на ладонях, ни на подошвах ног, и они издавали примерно такие же звуки, как и мы, вкладывая в них приблизительно то же значение. Короче говоря, разница между Лесной Ордой и моими соплеменниками была не столь велика.

Первым увидел его я — истощенного, высохшего старика, с морщинистым лицом и тусклыми глазами. Он был моей законной добычей. Какого-либо сочувствия между племенами в нашем

мире не существовало, а старик был не нашего Племени. Он был из Лесной Орды, этот дряхлый старик. Он сидел на земле у подножия дерева, — вероятно, это было его дерево, ибо вверху на нем виднелось растрепанное гнездо, в котором старик проводил ночи.

Я показал его Вислоухому, и мы оба кинулись к старику. Тот полез на дерево, но двигался он слишком медленно. Я ухватил его за ногу и стащил вниз. Потом у нас началась забава. Мы щипали его, таскали за волосы, крутили ему уши, кололи его сучьями — и все время хохотали, хохотали до слез. Его беспомощный гнев был просто нелеп. Старик производил комическое впечатление, стараясь казаться гораздо моложе, чем он был, и тщась показать давно покинувшую его силу — он строил грозные мины (хотя они получались у него просто скорбными), скрежетал остатками зубов, бил в свою щуплую грудь сухими кулачками.

И он сильно кашлял, еле переводя дыхание и чудовищно отхаркиваясь. Вновь и вновь он делал попытки влезть на дерево, но мы стаскивали его вниз; наконец он убедился в своем бессилии и, смирно сидя на земле, только плакал. А мы с Вислоухим, обнявшись, уселись напротив и все

хохотали над его жалким видом.

Старик сначала плакал, потом выл, потом вопил, наконец, он завизжал, напрягши для этого последние силы. Это обеспокоило нас, и чем больше мы старались его утихомирить, тем пронзительнее он визжал. И тогда до нашего слуха донеслись из лесу довольно громкие звуки: «Гоэк-Гоэк!» Вслед за этим мы услышали несколько ответных кликов, а вдалеке раздался густой глубокий бас: «Гоэк! Гоэк! Гоэк!» И затем со всех сторон полетел к нам по лесу раскатистый клич: «Хуу-хуу!»

И тут за нами погнались. Казалось, погоне не будет конца. Прыгая с дерева на дерево, за нами гналось все племя и едва нас не поймало. Мы были вынуждены спуститься на землю, и здесь преимущество оказалось за нами, ибо они были поистине Лесной Ордой: по деревьям они лазали искусней нас, но мы обгоняли их на земле. Мы бросились к северу, Лесная Орда, завывая, бежала вслед. На открытых полянах мы успевали оставить преследователей позади, но в густом лесу они шли по пятам за нами и несколько раз чуть не схватили. И пока они гнались за нами, мы хорошо поняли, что мы не из их породы и что нас не связывают никакие узы сочувствия или

симпатии.

Погоня продолжалась несколько часов. Лес казался бесконечным. Мы норовили бежать по полянам, но они всегда ухитрялись загнать нас в чащи. Порою мы уж думали, что избавились от преследования и садились отдохнуть, но всякий раз, едва мы переводили дыхание, слышались ненавистные крики «Хуу-хуу!» и «Гоэк-Гоэк!». Это последнее нередко сопровождалось диким воплем: «Ха-ха-ха-ха, ха-а-а!»

Вот так и гнала нас разъяренная Лесная Орда. Наконец, когда день уже клонился к вечеру, нам стали попадаться на пути холмы, а деревья пошли все мельче. Затем перед нами открылись покрытые травою откосы гор. Здесь мы могли бежать быстрее, и Лесная Орда отстала от нас и повернула к лесу.

Горы были суровы и неприветливы, поэтому мы трижды в тот вечер пытались уйти снова в леса. Но Лесная Орда стерегла нас на опушке и отгоняла назад. Ночь мы провели на карликовом дереве, высотой с обычный куст. Это было опасно: мы легко могли стать добычей любого хищного зверя, бродившего в тех местах.

Утром, еще раз убедившись в упорстве Лесной Орды, мы стали углубляться в горы. У нас не

было никаких определенных планов, никаких замыслов, это я хорошо помню. Нас гнала вперед и вперед только необходимость, мы уходили от опасности. О наших блужданиях в горах у меня сохранились лишь туманные представления. Мы провели в этих мрачных местах много дней, все время трепеща от страха: все тут было нам незнакомо и непривычно. Мы сильно страдали от холода, а позднее и от голода.

Это была пустынная страна — всюду одни голые скалы, окутанные влажной дымкой потоки и гремящие водопады. Мы взбирались и спускались по крутым каньонам и ущельям — и с какой высоты мы ни оглядывали местность, всюду, в любом направлении, перед нашим взором ярус за ярусом виднелись бесконечные горы. Спать мы забирались в расщелины и норы, а одну холодную ночь провели на тесной верхушке высокого утеса, похожего на дерево.

И вот наступило время, когда мы в жаркий полдень, совсем обессилевшие от голода, вышли на перевал. С его высокого хребта внизу, за сбегающими грядами скал и утесов, мы увидели на севере далекое озеро. Оно блестело под солнцем, вокруг него расстилались открытые травянистые равнины, а далеко к востоку уходила темная

полоса лесов.

Прошло два дня, прежде чем мы добрались до озера, голод измучил нас так, что мы едва держались на ногах; здесь, у озера, мы наткнулись на крупного теленка — уютно расположившись в чаще, он мирно спал. Теленок доставил нам немало хлопот: мы могли умертвить его только с помощью своих рук, иного способа мы не знали. Насытившись свежей телятиной, мы унесли ее остатки в лес, расположенный к востоку, и спрятали на дереве. Но возвращаться к этому дереву нам больше не было нужды, ибо берега потока, впадающего в Дальнее озеро, были густо усеяны лососями, поднявшимися сюда из моря метать икру.

К западу от озера открылись тучные равнины, и здесь паслось множество бизонов и дикого скота. Но, поскольку там стаями рыскали дикие собаки и не росло ни одного дерева, чтобы укрыться от них, жить в этих местах было опасно. Мы двинулись по берегу потока к северу и шли несколько дней, затем — я не помню уж почему — мы, покинув русло потока, круто повернули на восток, потом повернули еще раз на юго-восток и оказались в густом девственном лесу. Я не хочу утомлять вас описанием наших странствий. Я

только расскажу, как в конце концов мы попали в Страну Людей Огня.

Мы вышли к реке, но не знали, наша ли это река. Нас это и не очень волновало: ведь мы блуждали в неведомых местах столько, что уже свыклись со своим неведением и принимали его как должное. Оглядываясь назад, я вижу, как вся наша жизнь и судьба зависели от малейшей случайности. Мы не догадывались, не знали, что это за река, но если бы мы не переправились через нее, то, по всей вероятности, никогда бы не вернулись к Племени, и я, живой и реальный, рожденный через тысячу веков, не был бы рожден никогда.

И однако нам с Вислоухим очень хотелось вернуться домой. Блуждая в незнакомых местах, мы тосковали по дому, стремились попасть опять в свое Племя, на свою землю; часто вспоминал я Быстроногую, молодую самку, издававшую нежные звуки, — с ней было когда-то так приятно играть, а теперь она жила, таясь неведомо где. Мои воспоминания о ней будили во мне нечто похожее на голод, но вспоминал я о ней только тогда, когда бывал сыт.

Но вернемся к реке. Еды там было множество, главным образом ягод и вкусных сочных кореньев; мы играли и валялись на берегу целыми

днями. Потом Вислоухого осенила одна мысль. Как она его осенила — это можно было видеть глазами. И я действительно видел. Вдруг у него во взгляде появилось раздраженно-жалостливое выражение, весь он заерзал и забеспокоился. Затем его глаза потускнели, словно бы он не ухватил, не удержал в своем сознании только что зарождавшуюся мысль. Потом в них опять промелькнуло раздраженно-жалобное выражение — Вислоухий уловил свою мысль снова. Он посмотрел на меня, на реку, на противоположный берег. Он пытался что-то сказать, но звуков для выражения своей мысли у него не было. Получалась какая-то тарабарщина, слушая которую я засмеялся. Это рассердило Вислоухого, он внезапно набросился на меня и свалил меня на спину. Разумеется, мы подрались, и в конце концов я загнал его на дерево, где он вооружился длинным суком и хлестал меня им всякий раз, как я пытался кинуться на него.

А мысль так и погасла. Я ее не воспринял, а сам он ее забыл. Но на следующее утро она зашевелилась в нем вновь. Быть может, ее пробудила тоска по дому. Во всяком случае, мысль уже пробивала себе дорогу и на этот раз сильнее, чем прежде. Вислоухий повел меня к воде, — там, уткнув-

шись в прибрежный ил, лежало бревно. Мне показалось, что Вислоухий хочет играть, как мы когда-то играли в устье топи. Когда он выловил и подтянул к берегу второе бревно, я по-прежнему думал, что все это делается для игры.

Я разгадал намерения Вислоухого лишь тогда, когда мы, лежа на бревнах рядом друг с другом и крепко придерживая их, выплыли на течение. Вынув руку из воды, он показал ею на противоположный берег и громко, торжествующе закричал. Я понял его, и мы принялись грести еще энергичнее. Быстрое течение подхватило нас и понесло к южному берегу, но, прежде чем мы пристали к нему, течение швырнуло нас назад, к северному.

И тут все у нас пошло вразнобой. Видя, что северный берег очень близко, я стал грести по направлению к нему. Вислоухий же по-прежнему греб внаправлении южного берега. Наши бревна стали кружиться на месте, и мы не продвигались ни к тому, ни к другому берегу, между тем как нас несло вниз по течению, и лес уже оставался позади. Драться мы не имели возможности. Мы знали, что пускать в ход руки и ноги нам нет никакого смысла, гораздо полезнее придерживать ими бревна. Но мы пустили в ход языки и рьяно бранили друг друга до тех пор, пока течение не

подтащило нас опять к южному берегу. Сейчас он был очень близко, и тут мы стали прилежно грести к нему в полном единодушии. Выйдя на берег, мы тотчас влезли на деревья, чтобы как следует осмотреться, куда мы попали.

Глава XIII

Мы провели на южном берегу реки весь этот день и обнаружили Людей Огня только поздно вечером. Должно быть, близ дерева, на котором мы с Вислоухим устроились на ночлег, стала лагерем группа бродячих охотников. Сначала нас встревожили голоса Людей Огня, а потом, когда наступила темнота, нас потянул к себе огонь. Осторожно, соблюдая полную тишину, мы прыгали с дерева на дерево, пока не оказались в таком месте, откуда нам все было хорошо видно.

На открытой поляне в лесу, около реки, горел костер. Вокруг него сидело шестеро Людей Огня. Вислоухий неожиданно схватился за меня, и я почувствовал, что он дрожит. Я вгляделся в Людей Огня пристальней и вдруг увидел среди них сморщенного маленького охотника, который три года назад убил стрелою Сломанного Зуба. Когда старик встал с места, чтобы подбросить в костер сучьев, я заметил, что он прихрамывает на одну ногу. Значит, он хромал постоянно, нога у него была повреждена давно. Он показался мне еще более морщинистым и высохшим, чем прежде, а волосы на его лице поседели все до последнего.

Остальные охотники были молодыми. Я заметил, что рядом с ними на земле лежали луки и стрелы, и я уже знал, для чего служит это оружие. Люди Огня носили на плечах и на бедрах звериные шкуры. Однако руки и ноги у них были голые, и они не знали никакой обуви. Как я уже говорил, они были не столь волосаты, как мы, Племя. Головы у них были небольшие, а покатая линия лба мало чем отличалась от нашей.

Они были не так сутулы, как мы, движения у них казались не столь упругими. Спины, бедра, суставы ног были у них словно бы жестче и не так эластичны, как у нас. Руки их были не так длинны, как наши, и я не видел, чтобы они сохраняли равновесие при ходьбе, опираясь тыльной стороной рук о землю. Помимо того, их мускулы были округлей и симметричней, чем наши, а лица приятней. Их ноздри были обращены вниз, а носы очерчены резче и не выглядели такими плоскими и расплющенными, как у нас, не так сильно свисали губы, передние зубы не столь разительно походили на клыки.

Бедра у них, однако, были не толще наших, и по своему весу Люди Огня были не тяжелее нас. Одним словом, они отличались от нас меньше, чем мы от Лесной Орды. Безусловно, все три племени

состояли в родстве, и, по-видимому, в довольно близком.

Костер, вокруг которого сидели охотники, буквально заворожил нас. Мы с Вислоухим почти замирали, глядя, как полыхает огонь и дым клубами поднимается вверх. Всего интересней было, когда в костер подбрасывали сучья и из него вырывались, взлетев, снопы искр. Мне хотелось подойти поближе и налюбоваться костром вдоволь, но это было невозможно. Затаясь, мы сидели на дереве, росшем у края поляны, и не могли сделать лишнего движения без риска обнаружить себя.

Люди Огня сели кружком у костра и заснули, склонив головы на колени. Спали они чутко и неспокойно, уши у них постоянно шевелились. Время от времени один из них поднимался и подбрасывал хвороста в костер. Вокруг светлого круга, образуемого костром, в ночном мраке бродили хищные звери. Мы с Вислоухим узнавали их по голосам. То мы слышали диких собак и гиену, а иногда в лесу раздавалось рычание и громкий рев, от которого все охотники вокруг костра мгновенно пробуждались.

Была минута, когда лев и львица стояли под нашим деревом, устремив свои горящие глаза на

костер и подняв дыбом шерсть. Лев облизывался и был полон нетерпения, весь его вид говорил, что он еле сдерживается, чтобы не броситься к костру и утолить свой голод. Львица же держалась гораздо осторожнее. Первой заметила нас на дереве она; пара хищников, подняв головы, молча посмотрела на нас, — ноздри у них раздувались и трепетали. Потом лев и львица, вновь зарычав еще раз, взглянули на костер и не спеша повернули к лесу.

Мы с Вислоухим все сидели на дереве, не смыкая глаз ни на мгновение. Снова и снова слышался нам в чащобе треск кустов, ломаемых тяжелыми телами, а в темноте, на противоположной стороне светлого круга, мы не раз видели сверкающие бликами огня звериные глаза. Откуда-то издалека доносилось рычание льва, а где-то еще дальше раздался пронзительный предсмертный крик и шумный плеск воды: какое-то животное было схвачено у водопоя. Минуту спустя мы услышали, тоже с реки, басовитое хрюканье носорогов.

Заснув лишь на исходе ночи, утром мы подобрались поближе к костру. Он еще тлел и дымился, а Люди Огня ушли. Мы сделали по лесу изрядный круг, чтобы удостовериться в безопасности, а

потом подбежали к костру. Мне хотелось узнать, на что это похоже, и я двумя пальцами схватил тлеющий, красноватый уголь. Когда я завопил от неожиданной боли и бросил уголь, Вислоухий с перепугу прыгнул на дерево, а вслед за ним, тоже испугавшись, бросился и я.

Потом мы вели себя у костра с гораздо большей осторожностью и уже не хватали пальцами раскаленных углей. Мы во всем подражали Людям Огня. Мы садились, как они, и, опустив голову на колени, притворялись спящими. Мы передразнивали их манеру разговора и так увлеклись этим, что подняли немалый шум. Тут я вспомнил, как старый, сморщенный охотник рыл костер палкой. Я тоже начал копать палкой в костре, выковырнув множество горящих углей и подняв облако белого пепла. Эта забава так нам понравилась, что скоро мы были уже сплошь белыми, выпачкавшись пеплом с головы до ног.

Разумеется, нам очень хотелось разжечь огонь, как это делали охотники. Сначала мы подбросили в костер мелких сучьев. Это вышло очень удачно. Сучья, потрескивая, загорелись, их охватило пламя, и мы плясали и лопотали в полнейшем восторге. Потом мы стали класть в огонь уже большие ветки. Мы кидали и кидали их, не да-

вая себе передышки, пока костер не заполыхал огромным пламенем. В возбуждении мы сновали туда и сюда, подтаскивая из лесу сухие сучья и ветви. Пламя с шумом вздымалось все выше и выше, а столб дыма тянулся уже к самым вершинам деревьев. Сучья в огне шипели и трещали, пламя глухо рычало. Никогда еще не доводилось нам сделать своими собственными руками такое грандиозное дело, и мы были очень горды. Нет, мы тоже Люди Огня, думалось нам, когда мы, словно белые гномы, ликуя, приплясывали у бушующего костра.

Мы совсем не заметили, что огонь уже пополз по сухой траве и перекинулся на кустарник. Внезапно вспыхнуло пламенем высокое дерево, стоявшее на краю поляны. Мы смотрели на пылающее дерево широко открытыми, удивленными глазами. Жар заставлял нас отходить от него все дальше. Загорелось другое дерево, потом еще и еще, теперь их пылало уже с полдюжины. Тут мы испугались. Чудовище вырвалось на волю. Мы пригнулись в страхе к земле, а огонь пожирал деревья, кольцом окружая нас. В глазах Вислоухого появилось жалобное выражение — обычный знак, что он чего-то не понимает, и я знаю, что такое же выражение было и в моих глазах. Креп-

ко обнявшись, мы приникли друг к другу и не двигались с места, пока жар не достиг нас и наши ноздри не почувствовали запах горящих волос. Тогда мы бросились бежать и вырвались из кольца, держа путь по лесу на запад; мы бежали, все время оглядываясь назад, и хохотали.

В полдень мы подошли к перешейку, образованному, как мы узнали потом, крутым изгибом реки, которая здесь почти замыкалась в круг. Перешеек заграждала цепь невысоких, поросших лесом холмов. Поднявшись на холмы, мы оглянулись: лес позади нас представлял собой море огня, ветер, подхватывая пламя, нес его к востоку. Мы двинули дальше и шли все время на запад, по берегу реки; сами того не зная, мы очутились прямо у стойбища Людей Огня.

Стойбище это со стратегической точки зрения было расположено чрезвычайно удачно. Оно находилось на полуострове, защищенном с трех сторон изгибом реки. Доступ с суши был только один — через перешеек полуострова, но и его прикрывала гряда невысоких холмов. Изолированные от всего мира, Люди Огня, должно быть, жили и благоденствовали здесь давно. И полагаю, что именно это благоденствие вызвало впоследствии их переселение, принесшее такие невзгоды

Племени. По-видимому, Люди Огня быстро размножались, и прежние владения стали для них тесны. Они захватывали новые земли и по мере своего продвижения теснили Племя; они отбили у нас пещеры, поселились в них сами и заняли все наши угодья до последнего.

Но в то время, когда мы с Вислоухим забрели в стойбище Людей Огня, нам до всего этого не было дела.

Нас занимала лишь одна мысль: как бы оттуда выбраться, хотя мы и не могли побороть любопытства, чтобы не оглядеть их поселок. Впервые в жизни мы увидели тут женщин и детишек Людей Огня. Дети большей частью бегали голыми, а на женщинах были шкуры диких зверей.

Люди Огня, как и мы, жили в пещерах. Открытая поляна перед пещерами сбегала к реке, на поляне горело множество небольших костров. Готовили ли Люди Огня на кострах пищу, я не знаю. Мы с Вислоухим этого не видели. Но, насколько я могу судить, примитивное приготовление пищи у них уже практиковалось. Воду они, подобно нам, носили из реки в тыквах. На наших глазах много женщин и детей, громко перекликаясь, шли с реки и на реку с тыквами в руках. Дети шалили и гримасничали точно так же, как и дети

Племени. Вообще дети Людей Огня походили на наших детей больше, чем взрослые Люди Огня на нас.

В селении мы с Вислоухим пробыли недолго. Заметив нескольких подростков, стреляющих из лука, мы скрылись в густых зарослях и направились к реке. Тут мы нашли катамаран, настоящий катамаран — его соорудил, очевидно, кто-нибудь из Людей Огня. Два легких прямых бревна были связаны гибкими корнями и вдобавок скреплены деревянными поперечинами.

На этот раз одна и та же мысль пришла мне и Вислоухому одновременно. Нам надо было выбраться из владений Людей Огня. Так разве найдешь лучший путь, чем переправа через реку на этих бревнах? Мы влезли на них и оттолкнулись от берега. Вдруг наш катамаран резко дернуло и потянуло к берегу чуть ниже по течению. Неожиданный толчок чуть не опрокинул нас в воду. Длинной веревкой, свитой из корней, катамаран был привязан к дереву. Нам пришлось отвязать его, прежде чем снова отчалить от берега.

Мы выбрались на главное течение и спокойно спустились вниз по реке на такое расстояние, что были уже хорошо видны из стойбища Людей

Огня. Мы так усердно гребли и так пристально глядели на противоположный берег, что встревожились только тогда, когда услышали позади пронзительные крики. Мы обернулись.

Люди Огня стояли на берегу и показывали на нас пальцами, многие из них еще вылезали из пещер и тоже бежали к берегу. Мы сидели на своих бревнах и смотрели на эту толпу, совершенно забыв, что нам надо грести. На берегу поднялся невообразимый гвалт и волнение. Кое-кто из Людей Огня направил на нас луки и выстрелил, но только две-три стрелы упали в воду близ катамарана — мы отплыли уже достаточно далеко.

Для нас с Вислоухим это был великий день. На востоке дым пожара, вызванного нами, затянул полнеба. А мы плыли по середине реки, огибая стойбище Людей Огня, и чувствовали себя в полной безопасности. Мы сидели на бревнах и смеялись над Людьми Огня, уносясь от них по течению; мы плыли сначала к югу, затем с юго-востока на восток, далее на северо-восток, потом снова на восток, юго-восток и юг и потом повернули на запад, обогнув две крутых петли, которые делала тут река.

Нас быстро несло на запад, и когда Люди Огня остались далеко позади, знакомые места встали

перед нашим взором. То был большой водопой, куда мы когда-то ходили раз или два посмотреть на собравшихся у реки животных. За ним, мы знали, находилась поляна с морковью, а еще дальше — наше стойбище и пещеры. Мы начали подгребать к берегу — убегая назад, он прямотаки мелькал перед нами, — и прежде чем мы поняли это, мы уже были у водопоев Племени. Здесь множество водоносов — женщин и подростков — наполняли водой свои тыквы. Увидев нас, они в панике бросились бежать прочь от реки, оставляя тыквы на тропинках.

Мы пристали к берегу, не позаботясь, конечно, о том, чтобы привязать катамаран, который тут же уплыл вниз по реке. Мы осторожно поднялись по тропинке. Все Племя укрылось в пещеры, хотя многие нет-нет да и бросали на нас исподтишка любопытные взгляды. Красный Глаз не показывался. Мы были снова дома. И снова мы спали эту ночь в маленькой пещере высоко на утесе, хотя сначала нам пришлось выгнать оттуда двух драчливых юнцов, которые было захватили наше жилище.

Глава XIV

Шел месяц за месяцем, время летело. Невзгоды и беды, которые таило для нас будущее, еще не давали себя знать, а мы между тем усердно кололи орехи и жили своей обычной жизнью. В тот год, я помню, прекрасно уродились орехи. Мы наполняли ими тыквы и таскали их в стойбище колоть. Мы клали орехи в ямку на камень и камнем же разбивали их, тут же съедая.

Когда мы с Вислоухим возвратились из нашего долгого путешествия, была уже осень, а наступившая вслед за нею зима выдалась очень мягкой. Я часто ходил в лес к своему старому родному дереву, я обыскал все места между черничным болотом и устьем топи, где мы с Вислоухим научились плаванию на бревнах, но нигде не нашел ни малейшего следа Быстроногой. Быстроногая исчезла. А мне она была очень нужна. Я испытывал такое чувство, которое, как я уже говорил, походило на чувство голода, только ощущал я его, когда был вполне сыт. Но все мои поиски Быстроногой оказались тщетными.

Наша жизнь в пещерах была совсем не однообразна. Начать хотя бы с Красного Глаза. Мы с

Вислоухим чувствовали себя спокойно только в нашей маленькой пещере. Несмотря на то что в свое время мы расширили вход, пролезть в пещеру было отнюдь не легко. Мы понемногу расширяли этот вход и дальше, однако он был все-таки слишком узок, чтобы в него протиснулся чудовищно громадный Красный Глаз. Да он и не нападал больше на нашу пещеру. Он хорошо усвоил преподанный ему урок: на шее у него, в том месте, куда угодил мой камень, осталась большая шишка. Шишка эта никак не рассасывалась и не исчезала, ее можно было заметить у Красного Глаза даже издали. Частенько я наслаждался от души, разглядывая это произведение своих рук, а если находился в эту минуту в достаточной безопасности, то даже громко хохотал.

Попадись мы с Вислоухим Красному Глазу в лапы и растерзай он нас в клочья — Племя и не подумало бы выступить на защиту, и тем не менее нам сочувствовали все мужчины и женщины Племени. Возможно, это было с их стороны даже не сочувствие, а лишь выражение ненависти к Красному Глазу, но они предупреждали нас о каждом появлении нашего врага. Случалось ли это в лесу, или на водопое, или в поле перед пещерами — нигде мы не были в неведении,

нас своевременно предостерегали всюду. Таким образом, в нашей непримиримой борьбе с Красным Глазом у нас было то преимущество, что мы следили за ним далеко не одни.

Однажды он чуть-чуть не схватил меня. Это было ранним утром, все Племя еще спало. Совершенно неожиданно Красный Глаз отрезал мне путь в нашу пещеру на утесе. Не размышляя ни секунды, я бросился в другую пещеру — ту самую, которая узкой расщелиной соединялась с соседней; именно в этой пещере много лет назад увертывался и играл со мной в прятки Вислоухий, там же тщетно злобствовал Саблезубый, пытаясь поймать двух зазевавшихся соплеменников. Ныряя в расщелину, я увидел, что Красный Глаз в пещеру еще не ворвался. Но вот он уже был там. Я проскользнул по расщелине во вторую пещеру, Красный Глаз метнулся туда снаружи — и так повторялось раз за разом. Я только и знал, что пролезал по расщелине туда и сюда.

Так он держал меня в осаде почти полдня, пока ему ненадоело. После этого, стоило лишь Красному Глазу предстать перед нами, мы уже не лезли на утес, а бежали в эту двойную пещеру. Нам оставалось только бдительно следить за ним, не позволяя ему преграждать нам путь

отступления.

В эту зиму Красный Глаз постоянными жестокими побоями опять довел до смерти свою жену. Я уже называл его живым воплощением атавизма, однако в нем было что-то еще худшее, так как даже среди низших животных самцы никогда не убивают своих подруг. Поэтому я полагаю, что, несмотря на свои чрезвычайно сильные атавистические черты, Красный Глаз предвещал собой и появление человека, ибо во всем животном мире только мужчина способен на убийство жены или подруги.

Расправившись с женой, Красный Глаз, как и следовало ожидать, стал подыскивать себе другую. На этот раз он решил взять себе Певунью. Певунья была внучкой старика Мозговитого и дочерью Безволосого. Совсем еще юная, она очень любила петь у входа в свою пещеру, когда наступали сумерки. Жила она с Кривоногим, они поженились недавно. Кривоногий был тихого нрава, никогда никому не досаждал, ни с кем не дрался. Это был отнюдь не боец по натуре. Низкорослый, худой, он был далеко не столь проворен и подвижен, как все мы.

Никогда еще Красный Глаз не совершал более гнусного деяния. Это произошло тихим вечером,

на закате, когда мы все начали собираться около своих пещер. Вдруг от реки, с водопойных тропинок, стремглав пронеслась Певунья, за нею бежал Красный Глаз. Певунья бросилась к мужу. Бедняга Кривоногий страшно испугался. Но в нем был дух героя. Он знал, что над ним нависла смертельная угроза, но не отступил, не кинулся прочь. Весь ощетинившись, он стоял на месте, что-то лопотал и скалил зубы.

Красный Глаз взревел от ярости. Он был поистине оскорблен: это немыслимо, чтобы кто-то из Племени осмелился ему перечить! Он вытянул руку и схватил Кривоногого за шею. Тот впился зубами в его руку, но в следующее мгновение уже корчился и извивался на земле. У него была сломана шея. Певунья пронзительно вскрикнула и залопотала. Красный Глаз схватил ее за волосы и волоком потащил в свою пещеру. Взбираясь вверх, он по-прежнему волок ее по каменьям и так и не поднял на руки.

Мы разозлились — разозлились безумно, несказанно. Колотя себя в грудь и скрежеща зубами, все дико ощетинившись, мы сгрудились в кучу. В нас заговорил стадный инстинкт, он словно бы звал, толкал нас на общие действия. Мы знали эту потребность объединиться, хотя и чувствовали

ее смутно. Но сделать мы ничего не могли, ибо у нас не было средств, чтобы выразить эту потребность. Мы не бросились все как один и не убили Красного Глаза, потому что у нас был чересчур скудный словарь. Для выражения тех смутных ощущений, которые у нас возникали, нам не хватало мыслей-символов. Эти мысли-символы нам предстояло еще медленно и мучительно искать и изобретать.

Те мысли, которые, словно тени, скользили в нашем сознании теперь, мы тоже старались выразить в звуках. Безволосый начал громко тараторить. Своими криками он хотел показать, что он разгневан и готов нанести Красному Глазу всяческий вред. Он сумел это передать, и мы вполне поняли его. Но когда он попытался выразить пробудившийся в нем импульс к объединению, его лопотание стало совсем бессмысленным. Тогда, щетиня брови и колотя себя в грудь, принялся кричать и лопотать Скуластый. Мы яростно тараторили один за другим и в своем гневе не знали удержу; даже старик Мозговитый, брызжа слюной и кривя высохшие губы, начал бормотать своим надтреснутым голосом. Потом кто-то схватил палку и стал колотить ею по бревну. В ударах палки послышался определенный

ритм. И все наши крики и вопли помимо нашей воли постепенно подчинились этому ритму. Он действовал на нас успокаивающе: мы и не заметили, как наш гнев остыл и схлынул, и, покорные ритму ударов, мы начали все, как один, дергаться и хохотать.

Этот всеобщий хохот великолепно показывает всю алогичность и непоследовательность поведения Племени. Только что мы все горели гневом и были охвачены смутным стремлением действовать сообща, но вот грубый ритм ударов палки уже заставил нас быстро забыть обо всем этом. Мы были очень общительны, в нас громко говорило стадное чувство — и это сборище, где мы все что-то пели и все хохотали, вполне отвечало нашей внутренней потребности. В нашей бессмысленной толчее уже таились предвестья советов первобытных людей, а также великих ассамблей и международных конвентов современного человека. Но нам, Племени Юного Мира, недоставало речи, и, где бы мы ни сходились, мы начинали дикое столпотворение и галдеж, в котором, однако, чувствовался единый ритм — этот-то ритм и нес в себе начатки будущего искусства. Это было зарождение искусства.

Но мы отбивали ритм, захвативший нас, совсем

недолго. Скоро мы теряли его, и тут нас захлестывало всеобщее неистовство, оно длилось до тех пор, пока мы вновь не нащупывали старый ритм или не находили новый. Иногда мы изобретали полдюжины различных ритмов сразу, и тогда какая-либо кучка, придерживаясь того ритма, который ей нравился больше, старалась заглушить и перекричать всех остальных.

В этом неистовстве и шуме каждый из нас тараторил, кричал, визжал, не щадя сил, каждый приплясывал, и каждый был сам по себе, каждый был полон своими мыслями и желаниями, ощущая себя подлинным центром вселенной, независимым, отделенным на время ото всех остальных центров вселенной, которые прыгали и вопили вокруг него в эту минуту. Затем возникал ритм — было ли это хлопанье в ладоши, постукивание палкой по бревну, размеренные и четкие прыжки какого-нибудь плясуна или чья-нибудь песня с резким членением и с гибкой интонацией, которая то повышалась, то понижалась: «А-банг, а-банг! А-банг, а-банг!» И все Племя, каждый из нас, минуту назад ощущавший себя совсем отдельным и независимым, все мы уже подчинялись этому ритму, и уже приплясывали, и пели единым хором. Одна из любимых хоровых

песен звучала у нас примерно так: «Ха-а, ха-а, ха-а-аха!» — а другая следующим образом: «Э-уа, э-уа, э-уа-ха!»

Так, невероятно гримасничая, прыгая и вертясь, мы плясали и пели в мрачных сумерках первобытного мира. В этой самозабвенной пляске сразу глохли наши смутные мысли, нас охватывал единый бешеный порыв, мы доводили себя до исступления. Наш гнев против Красного Глаза исчезал, растворяясь в искусстве, и мы вопили диким хором, пока ночь не напомнила нам о всех своих ужасах. Тогда мы, тихо перекликаясь, стали расходиться по своим пещерам, а на небе уже высыпали звезды и спустилась тьма.

Мы боялись только темноты. У нас не было и понятия ни о религии, ни о мире незримого. Мы знали лишь реальный мир, боялись только реальных существ, реальных опасностей, хищников из плоти и крови. Темнота страшила нас именно потому, что это было время хищников. Под покровом мрака они выходили из своих логовищ и бросались на нас, оставаясь сами невидимыми.

Вполне возможно, что из страха перед живыми существами, скрывавшимися во мраке, и зародилась впоследствии боязнь могущественного незримого мира. По мере того как возрастала

способность воображения и усилился страх перед смертью, человек стал связывать этот страх с темнотой и населять ее духами. Я думаю, что зачатки именно такого страха перед темнотой были уже у Людей Огня, однако причина, побуждавшая нас, Племя, прерывать наши песни и пляски и кидаться к пещерам, была совсем другая, а именно старина Саблезубый, львы, шакалы, дикие собаки, волки и прочие прожорливые хищные звери.

Глава XV

Вислоухий женился. Это произошло во вторую зиму после нашего путешествия и было весьма неожиданно. Меня он даже не предупредил. Я узнал об этом однажды в сумерки, поднявшись на утес и пробираясь в свою пещеру. Я уже было протиснулся в нее, как вдруг мне пришлось остановиться. В пещере для меня не было места. Ею завладел Вислоухий со своей женой, которая оказалась не кем иным, как моей сестрой, дочерью моего отчима Болтуна.

Я попытался расчистить себе место силой. Но в пещере могло поместиться только двое, и эти двое там уже сидели. Преимущества были не на моей стороне, и, получив достаточное количество щипков и затрещин, я был рад ретироваться. Эту ночь, как и множество других, я провел в расщелине, соединявшей двойную пещеру. Я знал по опыту, что тут безопасно. Если двое моих сородичей ускользнули здесь от старины Саблезубого, а я увернулся от Красного Глаза, то, казалось мне, я смогу, ныряя в узкую расщелину, спастись от любого хищного зверя.

Однако я забыл о диких собаках. Они были

достаточно малы, чтобы проникнуть в любой проход, через который мог пролезть я. Однажды ночью они выследили меня. Если бы они вошли в обе пещеры одновременно, дело кончилось бы плохо. Но, преследуемый несколькими собаками, я нырнул в расщелину и выскочил из соседней пещеры наружу. Однако здесь меня ждали остальные собаки. Они кинулись на меня, но я прыгнул на стенку утеса и стал карабкаться вверх. И тут одна тощая, изголодавшаяся зверюга ухватила меня почти на лету. Она вцепилась зубами мне в ляжку и едва не стащила меня вниз. Думая только о том, чтобы не попасться всей стае, я не стал тратить усилий на эту тощую собаку и продолжал лезть вверх, а она так и висела, вцепившись в мою ногу.

Когда я поднялся достаточно высоко, я мог уже заняться и собакой, тем более что боль в ноге сделалась нестерпимой. И вот, глядя, как футах в двенадцати внизу от меня обезумевшая от злости стая щелкала зубами, выла и, постоянно срываясь, прыгала на стену, я схватил эту тощую собаку за шею и начал ее душить. Это заняло много времени. Собака свирепо царапалась, вырывая у меня клочья волос и кожи, тянула и дергала меня вниз, стараясь стащить с утеса.

Наконец она разжала зубы и выпустила мою ногу. Я поднял ее труп на утес и провел остаток ночи у входа в пещеру, где спали Вислоухий и моя сестра. Но сначала мне пришлось выдержать бурю протестов со стороны своих разбуженных соплеменников, которые обвиняли меня в том, что я лишил их ночного отдыха. А я все не успокаивался и хотел отомстить стае собак, все еще бесившихся внизу. Время от времени, как только они немного там утихали, я швырял в них камень, и они опять поднимали громкий вой. И тогда ко мне снова отовсюду неслись обвинения и протесты разбуженного Племени. А утром я поделился мертвой собакой с Вислоухим и его женой, и несколько дней мы знать не хотели никакой растительной пищи.

Брак Вислоухого был не из счастливых, но, к утешению моего друга, он оказался не слишком продолжительным. Пока Вислоухий был женат, мы изрядно страдали оба, и он и я. Я чувствовал себя одиноким. Я терпел все неудобства, вызванные утратой маленькой теплой пещеры, но идти жить к какому-нибудь другому юноше я не хотел. Мне кажется, что долговременное мое житье в одной пещере с Вислоухим стало для меня уже привычкой.

Я мог жениться и сам, это правда; возможно, что я уже и женился бы, если бы в Племени не было так мало женщин. Кстати сказать, малочисленность женщин проистекала скорей всего от невоздержанности Красного Глаза — отсюда ясно, какую угрозу он нес существованию Племени. Но, помимо всего прочего, еще существовала Быстроногая, которую я никогда не забывал.

Короче говоря, в течение всего времени, пока Вислоухий был женат, я бродил без пристанища и ночевал где попало, подвергаясь постоянной опасности и не зная никаких удобств. В Племени умер один мужчина, и его вдову увел себе в пещеру другой мужчина. Я захватил опустевшую пещеру вдовы, но у этой пещеры был широкий вход, и после того, как Красный Глаз едва не поймал меня в ней, я стал ночевать опять в расщелине двойной пещеры. А в теплые летние месяцы я подолгу не заглядывал в пещеры вообще, ночуя на дереве, близ устья топи, где я соорудил гнездо.

Я уже отмечал, что брак Вислоухого оказался несчастливым. Моя сестра была дочерью Болтуна, и она сделала жизнь Вислоухого невыносимой. Ни в одной пещере не было столько ссор и драк, как у них. Если Красный Глаз был Синей Бородой,

то Вислоухий — настоящим тюфяком; Красный Глаз, по-моему, был слишком проницателен, чтобы домогаться жены Вислоухого.

К счастью для Вислоухого, она погибла. В тот год произошло необычайное событие. Уже на пороге осени, когда кончалось лето, неожиданно уродился второй урожай моркови. Эта молодая нежная морковь оказалась очень вкусна и сочна, и поляны, где она произрастала, сделались на время излюбленным местом кормежки Племени. Однажды прекрасным ранним утром мы с аппетитом там завтракали, нас было несколько десятков. Рядом со мной сидел Безволосый, за ним его отец Мозговитый и сын Длинная Губа. По другую сторону от меня были моя сестра и Вислоухий; сестра сидела рядом со мной.

Все случилось совершенно внезапно. Вдруг Безволосый и моя сестра вскочили на ноги и пронзительно вскрикнули. В то же мгновение я услышал свист стрел, которые в них вонзились. Через секунду они, задыхаясь, лежали на земле, а мы все бросились наутек под защиту деревьев. Одна стрела пролетела около меня и воткнулась в землю, ее оперенный хвост дрожал и раскачивался. Я хорошо помню, как я отпрянул от нее в сторону, хотя в этом не было никакой нужды.

Я испугался этой уже безвредной стрелы и отскочил от нее, как отскакивает от пугающего ее предмета лошадь.

Вислоухий, бежавший вслед за мною, вдруг рухнул и растянулся на земле. Стрела насквозь пронзила ему икру. Он попробовал встать, но снова споткнулся и упал. Корчась и дрожа от страха, он сидел и жалобно призывал меня на помощь. Я кинулся к нему. Он показал мне на ногу со стрелой. Я начал было вытаскивать стрелу, но Вислоухому стало так больно, что он схватил меня за руку и остановил. Рядом с нами пролетела еще одна стрела. Другая ударилась о камень и расщепилась. Я не стал ждать третьей. Я вновь взялся за стрелу, торчавшую в ноге Вислоухого, и дернул ее изо всех сил. Стрела вышла, а Вислоухий завизжал от боли и бросился на меня драться. Но через секунду мы уже снова бежали во весь дух.

Я оглянулся назад. Старик Мозговитый, отстав ото всех, одиноко ковылял, спотыкаясь и прихрамывая, в надежде спастись от смерти. Он едва не падал и однажды действительно упал, но стрелы его все еще щадили. Старик с трудом поднялся на ноги. Годы давили его тяжелым грузом, но он не хотел умирать. Трое Людей Огня, выскочившие

из засады и бегущие к нему, легко могли бы его прикончить, но почему-то они не сделали этого. Может быть, он казался им слишком старым и жестким. Но они были иного мнения о Безволосом и моей сестре, ибо, когда я посмотрел на них из-за деревьев, Люди Огня уже разбивали им камнями головы. Среди этих Людей Огня был и высохший от старости хромой охотник.

Мы мчались по деревьям к пещерам — взбудораженная, беспорядочная толпа, перед которой укрывалось в норы все мелкое лесное зверье и с тревожным криком взлетали птицы. Теперь, когда непосредственная опасность нам уже не угрожала, Длинная Губа остановился и поджидал своего деда Мозговитого: так они, седой старец и юноша, олицетворяя собой два разных поколения Племени — поколение дедов и внуков, — шли рядом позади всей толпы.

Теперь Вислоухий вновь стал холостяком. В эту ночь я спал уже в его маленькой пещере, и наша совместная жизнь началась сызнова. О своей погибшей жене Вислоухий, казалось, не горевал. Во всяком случае, он не выказывал ни сожаления, ни тоски по ней. Что его сильно беспокоило, так это рана на ноге: прошло не меньше недели, прежде чем Вислоухий обрел свое прежнее про-

ворство и ловкость.

Мозговитый был у нас единственным стариком во всем Племени. Порою, раздумывая о тех временах и пристально вглядываясь в них, я особенно ясно вижу этого старца и всегда поражаюсь сходством между ним и отцом садовника, который служил у моего отца. Отец садовника был очень стар, высохший, весь в морщинах; когда он смотрел на меня своими маленькими тусклыми глазками и что-то шамкал беззубым ртом, клянусь, его было можно спутать с Мозговитым. Меня, ребенка, это разительное сходство прямо-таки пугало. Завидя, как он ковыляет на своих костылях, я обычно бросался в бегство. Даже седые бакенбарды этого старца я принимал за растрепанную белую бороду Мозговитого.

Как я уже сказал, Мозговитый был у нас единственным стариком во всем Племени. Он являл собой редчайшее исключение. Никто из Племени не доживал до преклонного возраста. Довольно редко доживали и до средних лет. Насильственная смерть была общим уделом. Все в Племени умирали так, как умер мой отец, как умер Сломанный Зуб, как только что умерли Безволосый и моя сестра, — неожиданной и жестокой смертью, полные бодрости и сил, в расцвете жизни.

Естественная смерть? В те дни насильственная смерть была естественной смертью.

Никто из нас не умирал от старости. Я не знаю ни одного такого случая. Насильственная смерть постигла даже Мозговитого, хотя он был у нас единственным, кто мог рассчитывать на спокойную кончину. Какой-нибудь несчастный случай, повлекший серьезное повреждение, или временная утрата сил — все это означало быструю смерть. Сородичи умирали, как правило, не на глазах Племени, без каких-либо очевидцев. Они просто исчезали. Они уходили утром из пещер — и больше не возвращались. Так или иначе, все они попадали в пасть прожорливых хищников.

Набег Людей Огня на морковную поляну был началом конца, хотя никто из нас не осознавал этого. Со временем охотники с луками стали показываться все чаще. Они являлись в малом числе — по двое, по трое, — беззвучно крадучись по лесам, вооруженные своими летучими стрелами, для которых не существовало расстояния и которые сбивали добычу с самых высоких деревьев, избавляя Людей Огня от необходимости даже лазать на них. Луки и стрелы словно бы колоссально удлиняли мускулы Людей Огня, и эти охотники могли, в сущности, прыгать на

расстояние сотни футов с лишним. Это делало их куда страшнее, чем даже сам Саблезубый. И, помимо того, они были очень мудры. Они умели говорить, вследствие чего они могли яснее и четче думать, и вдобавок обладали навыком к объединению своих действий.

Теперь мы, Племя, стали вести себя в лесу чрезвычайно осторожно. Мы были бдительны и пугливы, как никогда раньше. Мы уже не полагались на то, что нас защитят и спасут высокие деревья. Теперь мы не могли позволить себе удовольствия, сидя высоко на ветвях, дразнить хищников и хохотать над ними. Люди Огня были тоже хищниками, а их когти и клыки достигали сотни футов в длину, — ужаснее этих пришельцев для нас не было зверей во всем нашем первобытном мире.

Однажды утром, еще до того, как Племя разбрелось по лесу, среди водоносов и всех тех, кто ушел напиться к реке, началась паника. Все Племя бросилось к пещерам. Так мы в минуту тревоги поступали всегда: сначала убегали, а потом уже смотрели, что произошло. Вот и теперь: выглядывая из пещер, мы сидели и ждали, что будет. Через некоторое время на лужайку перед пещерами осторожно вышел Человек Огня. Это был

все тот же низкорослый, сморщенный старый охотник. Он стоял довольно долго, глядя на нас, осматривая наши пещеры и окидывая взглядом сверху донизу весь утес. Затем он спустился по тропинке к водопою и несколько минут спустя возвратился по другой тропинке. И снова он стоял и смотрел на нас — долго и внимательно. Потом резко повернулся и пошел, прихрамывая, к лесу, а мы, сидя в пещерах, лишь жалобно перекликались друг с другом.

Глава XVI

Нашел я ее в знакомых местах около черничного болота, где жила моя мать и где мы с Вислоухим соорудили свое первое убежище на дереве. Все произошло неожиданно. Проходя под деревом, я услышал памятные мне нежные звуки и взглянул вверх. Это была она, Быстроногая; сидя на ветке, она болтала ногами и смотрела на меня.

На минуту я замер на месте. Глядя на Быстроногую, я почувствовал себя очень счастливым. А затем к этому ощущению счастья примешалось чувство беспокойства и боли. Я влез к ней на дерево, но она отходила от меня по ветви все дальше. Едва я настиг ее, как она прыгнула на соседнее дерево. Теперь она смотрела на меня, выглядывая из-за шуршащей листвы, и издавала нежные звуки. Я тоже прыгнул на соседнее дерево и возбужденно карабкался по ветвям, стараясь ее поймать, но положение неожиданно осложнилось: по-прежнему издавая нежные звуки, она уже сидела средь веток третьего дерева.

Я чувствовал, что во мне давно уже произошла какая-то перемена, что я теперь не таков, каким был до того, как мы с Вислоухим пустились в свое

долгое странствие. Я хотел Быстроногую — и знал это. Знала это и она. Вот почему она не позволяла мне приблизиться к ней. Я и забыл, что она поистине была Быстроногой и что в искусстве лазания по деревьям она являлась моим учителем. Я гнался за ней, прыгая с дерева на дерево, а она неизменно ускользала и, оглядываясь назад, бросала на меня ласковые взгляды, издавала нежные звуки, танцевала, и прыгала, и раскачивала ветви прямо у меня под носом. Чем искуснее она увертывалась, тем упорнее я старался поймать ее, а удлинявшиеся тени догоравшего дня показывали всю тщетность моих усилий.

Преследуя ее, я порой садился отдохнуть и смотрел на Быстроногую с соседнего дерева; я увидел, что за то время, пока мы не встречались, она заметно изменилась. Она стала крупнее, тяжелее — словом, стала более взрослой. Линии ее тела округлились, мускулы налились, в ней появилось что-то зрелое, чего раньше не было и что меня сейчас очень манило. Она пропадала три года — три года по меньшей мере, и любая перемена в ней бросалась теперь в глаза. Я говорю, три года, но это, конечно, весьма приблизительно. Может быть, сюда надо добавить и четвертый год, который я объединил с последующими тремя. Чем

больше я думаю, тем сильнее склоняюсь к тому, что я не видел ее четыре года.

Где она скрывалась все это время, почему скрывалась и что с ней происходило, я не знаю. Она не могла рассказать мне об этом, так же как мы с Вислоухим не могли рассказать Племени о том, что мы видели во время нашего памятного путешествия. Вполне возможно, что, подобно нам, она тоже где-то долго странствовала, отправясь в путь по собственной воле. С другой стороны, ее мог вынудить к этому Красный Глаз. Можно не сомневаться, что в своих блужданиях по лесу Красный Глаз не раз видел Быстроногую, и если он начал ее преследовать, этого было достаточно, чтобы она скрылась. Последующие события заставляют меня думать, что она уходила далеко на юг, пересекла гряду гор и побывала на берегах незнакомой реки — все это лежало за пределами земель Племени. Но там то и дело шныряла Лесная Орда, и, как я полагаю, она-то, должно быть, и вынудила Быстроногую возвратиться к своим сородичам и ко мне. Основания для такого вывода я изложу позже.

Тени становились все длиннее, я гнался за Быстроногой с еще бóльшим пылом, но поймать ее мне никак не удавалось. Она делала вид, что стре-

мится убежать от меня во что бы то ни стало, и в то же время ухитрялась постоянно держаться в нескольких шагах от меня. Я забыл буквально обо всем: о времени, о наступающей ночи, о хищных зверях. Я обезумел от любви к ней, и я страшно сердился на нее за то, что она не подпускала меня к себе. Это странно звучит, но мой гнев, по-видимому, вполне уживался с желанием овладеть ею.

Как я уже сказал, я забыл буквально обо всем. Мчась во весь дух по открытой поляне, я наткнулся на колонию змей. Я даже не испугался их. Я обезумел. Змеи бросились на меня, но я увернулся, отпрянув в сторону. Потом на меня кинулся питон — обычно я спасался от него, с визгом влезая на дерево. Он загнал меня на дерево и сейчас, но Быстроногая уже скрывалась из виду, и я опять спрыгнул на землю и побежал за ней. Это было далеко не безопасно. За мной уже следил мой старый враг — гиена. Она решила, что вот-вот непременно что-то случится, и не отставала от меня целый час. Однажды мы потревожили стадо диких свиней и они тоже погнались за нами. Быстроногая громадным прыжком перелетела с одного дерева на другое на такое расстояние, что решиться на подобный прыжок я побоялся. Мне надо было спуститься и пробежать от дерева

к дереву по земле. А там были свиньи. Но это меня не остановило. Я прыгнул вниз, оказавшись примерно на ярд от ближайшей свиньи. Они кинулись за мной и скоро загнали меня на деревья, стоявшие на открытом месте, в стороне от того направления, куда бежала Быстроногая. Я вновь соскочил с дерева и вновь помчался через поляну, а свиньи, злобно хрюкая и щелкая зубами, всем стадом гнались за мной по пятам.

Если бы я споткнулся и задержался на поляне хоть на минуту, мне пришел бы конец. Но я не споткнулся. Впрочем, я и не задумывался над этим. Я был сейчас в таком состоянии духа, что не дрогнул бы, увидя самого Саблезубого или десяток Людей Огня с их стрелами. Так я обезумел от любви… но обезумел только я. Быстроногая держалась иначе. Она была очень мудра. Она отнюдь не рисковала, и теперь, оглядываясь назад сквозь столетия на эту дикую любовную погоню, я вспоминаю, что когда меня задержали свиньи, Быстроногая не убежала, не скрылась, а поджидала, чтобы я вновь погнался за ней. И она преднамеренно выбирала направление, бежала от меня только в одну, нужную ей сторону.

Наконец спустилась тьма. Быстроногая повела меня вокруг мшистого выступа огромной скалы,

громоздившейся среди деревьев. После этого мы пробирались сквозь чащобу кустарника, который нещадно меня царапал. Но на Быстроногой не пострадал ни один волосок. Она знала эту дорогу. Посреди кустарника, в самом глухом урочище, вздымался могучий дуб. Я был очень близко от нее, когда она вскарабкалась на этот дуб, и здесь, в гнезде с крышей, я нашел то, что искал так долго и тщетно: я поймал ее.

Гиена вновь напала на наш след, она подошла к дубу и начала выть голодным голосом. Но мы не обращали на нее внимания и от души хохотали, когда она, фыркнув, скрылась в кустарнике. Была весна, и множество разнообразных звуков слышалось в ночи. Как обычно в эту пору, животные вели свои нескончаемые брачные битвы. Сидя в гнезде, я слышал визг и ржание диких лошадей, трубные клики слона и рычание львов. Но на небе засиял молодой месяц, ночь была теплая, и мы смеялись от души, ничего не боясь.

Как помню, утром мы наткнулись на пару взъерошенных, разъяренных диких петухов, которые дрались с таким самозабвением, что я подошел прямо к ним и поймал их за шею. Так мы с Быстроногой устроили себе свадебный завтрак. Петухи оказались на вкус восхитительными.

Ловить птиц весной было нетрудно. А однажды ночью, при сильном свете луны, мы с Быстроногой наблюдали со своего дерева, как бились два лося; мы видели, как подкрались к ним, незамеченные, лев и львица и как они, прыгнув на лосей, загрызли их.

Не могу сказать, сколько времени мы с Быстроногой жили на дереве. Но однажды, когда мы бродили по лесу, в наше дерево ударила молния. Большущие ветви, на которых держалось гнездо, были расщеплены, от самого гнезда почти ничего не осталось. Я начал было восстанавливать его, но Быстроногая не хотела об этом и слышать. Как я скоро понял, она чрезвычайно страшилась молнии, и убедить ее вновь поселиться на этом дереве мне не удалось. В конце концов, проведя наш медовый месяц в лесу, мы пошли жить в пещеры. Подобно тому, как после своей женитьбы меня изгнал из пещеры Вислоухий, так теперь изгнал его я; мы жили в пещере вдвоем с Быстроногой, а Вислоухий ночевал в расщелине, соединявшей двойную пещеру.

Вместе с нашим приходом в Племя пришла и тревога. Не знаю, сколько жен было у Красного Глаза после Певуньи, которая не избежала участи остальных. Теперь Красный Глаз жил с

маленьким, робким, безвольным существом; эта женщина хныкала и плакала постоянно, невзирая на то, бил он ее в данную минуту или нет. Было ясно, что конец ее наступит очень скоро. Но, даже не дожидаясь этого, Красный Глаз с жадностью глядел на Быстроногую, а когда его жена умерла, начал преследовать Быстроногую открыто.

К счастью для нее, она была Быстроногой и обладала изумительной способностью мчаться по деревьям. Чтобы избежать объятий Красного Глаза, ей потребовалось все ее благоразумие и вся ее отвага. Помочь ей я не мог. Красный Глаз был так чудовищно силен, что разорвал бы меня на куски. Ведь до конца моей жизни в сырую погоду у меня болело и ныло плечо, и это было делом его рук.

В те дни, когда он изувечил мне плечо, Быстроногая болела. Это был, вероятно, припадок малярии, которой мы нередко заболевали; во всяком случае, Быстроногая впала в апатию и сонливость. Мускулы ее лишились былой пружинистой силы, и она уже не могла нестись по деревьям с прежней стремительностью, — именно в эти-то дни Красный Глаз нагнал ее близ логова диких собак, в нескольких милях к югу

от пещер. Обычно в таких случаях Быстроногая сначала сновала около Красного Глаза кругами, потом стремглав неслась домой и скрывалась в нашей пещере с ее узеньким входом. Но сейчас она не могла кружить и сновать по деревьям. Она была слишком слаба и медлительна. Всякий раз, как только она прыгала в сторону, Красный Глаз преграждал ей путь, и скоро Быстроногая уже не пыталась обмануть и провести его, а кинулась бежать прямиком к поселку.

Не будь она больна, удрать от Красного Глаза было бы для нее детской игрою, но теперь ей пришлось призвать на помощь всю свою бдительность и ловкость. Ее преимущество заключалось в том, что она могла взбираться на более тонкие ветви и прыгать дальше, чем он. Кроме того, у нее был безошибочный глазомер на расстояния и инстинктивное чутье на то, сколь крепка и надежна ветка или сук, на который она готовилась прыгнуть.

Преследованию, казалось, не будет конца. Они мчались по деревьям, кружа и делая огромные петли, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Видя такую погоню, переполошилось все Племя. Все взволнованно лопотали, повышая голоса, когда Красный Глаз был далеко, и замолкая, когда

он приближался. И мужчины и женщины оказались лишь бессильными зрителями. Женщины визжали и тараторили, а мужчины в тщетном гневе били себя в грудь кулаками. Особенно гневался Скуластый, и хотя при приближении Красного Глаза умерял свою ярость и он, но все-таки он делал это не в такой мере, как остальные мужчины.

Что касается меня, то я вел себя отнюдь не доблестно. Я был тогда кем угодно, только не героем. Ведь что ни говори, а какой был бы толк, если бы я кинулся на Красного Глаза? Справиться с этим чудовищем и зверем у меня не хватило бы никаких сил. Он убил бы меня, и положение ничуть бы не изменилось к лучшему. Он поймал бы Быстроногую, даже не подпустив ее к пещерам. Значит, мне оставалось теперь только злиться и глядеть на бесчинство Красного Глаза, увертываясь с его пути и замолкая всякий раз, как он проносился поблизости от меня.

Время шло. Наступал вечер. А погоня за Быстроногой все не прекращалась. Красный Глаз решил довести ее до изнеможения. Он только и ждал, когда она выбьется из сил. Быстроногая уже начала утомляться и не могла нестись по деревьям с прежней стремительностью. Тогда

она стала взбегать на тонкие ветви, куда Красный Глаз при своей тяжести взобраться не смел. Там она могла бы хоть немного отдохнуть, но Красный Глаз оказался сущим дьяволом. Будучи не в силах приблизиться к Быстроногой, он задумал ее сбросить. Навалившись всей своей тяжестью, он начал упорно раскачивать ветку, на которой сидела Быстроногая, и стряхнул ее так же легко, как можно стряхнуть с кнута муху. Быстроногая спаслась в первый раз тем, что упала на нижние ветви. В другой раз нижние ветви не удержали ее, и она сорвалась наземь, но падение было все-таки сильно смягчено. После этого Красный Глаз, стремясь сбросить свою жертву, принялся трясти ветвь с таким ожесточением, что Быстроногая перелетела по воздуху на соседнее дерево. Прыжок получился великолепный, и на время она была спасена. Но скоро ей снова пришлось искать защиты, взбегая на тонкие ненадежные ветви. Сейчас она так обессилела, что другого выхода, как спасаться на тонких ветвях, у нее не было: Красный Глаз не отставал от нее ни на минуту.

Погоня все еще продолжалась, а мы по-прежнему визжали, били себя кулаками в грудь и скрежетали зубами. Затем наступил конец. Это случилось уже почти в сумерки. Трепеща от

страха и задыхаясь, Быстроногая повисла на высокой тонкой ветке. Она уже не видела внизу ни одного сучка или кустика, а до земли было футов тридцать. Красный Глаз стоял на той же ветке, у толстого основания, и с силой раскачивал ее вверх и вниз. Ветвь, словно маятник, ритмично качалась в воздухе, увеличивая размах при каждом толчке его тела. Внезапно, когда ветвь завершала движение вниз, Красный Глаз подпрыгнул, освободив ее от своей тяжести. Быстроногая не удержалась и, разжав руки, с криком полетела на землю.

Летя в воздухе, она выпрямилась и ударилась оземь ногами. При прыжке с такой высоты упругость ее ног обыкновенно смягчала силу удара. Но теперь Быстроногая была невероятно истощена, мускулы у нее обмякли. Ее ноги подогнулись, приняв на себя удар лишь отчасти, и она упала на бок. Как оказалось, она не очень ушиблась, но от удара у нее перехватило дыхание. Совершенно беспомощная, она лежала, судорожно хватая ртом воздух.

Красный Глаз бросился к ней. Запустив свои скрюченные пальцы в ее волосы, он выпрямился и с торжеством зарычал, бросая вызов испуганному Племени, которое глядело на него, сидя

на деревьях. Тогда-то я и загорелся яростным гневом. Я забыл всякую осторожность, всякий страх за свою жизнь. Красный Глаз еще ревел и не двигался с места, как я наскочил на него сзади. Мой натиск был столь неожиданным, что Красный Глаз свалился с ног. Я обхватил его руками и ногами и изо всех сил прижимал к земле. Если бы Красный Глаз не держал одной рукой за волосы Быстроногую, все мои старания были бы, конечно, напрасны.

Тут, воодушевленный моей отвагой, неожиданно подоспел ко мне на помощь Скуластый. Он кинулся на Красного Глаза, вонзил ему в руки зубы и стал рвать и царапать лицо. Это был самый удобный момент, когда нас могло бы поддержать все Племя. Открывалась полная возможность покончить с Красным Глазом навсегда. Но Племя в страхе осталось сидеть на деревьях.

Было совершенно ясно, что Красный Глаз одолеет и меня и Скуластого. Если он на какое-то время замешкался, то только потому, что его движения связывала Быстроногая. Она уже пришла в себя и начала сопротивляться. Но Красный Глаз ни за что не хотел выпустить из руки ее волосы, и это мешало ему бороться с нами. Вдруг он схватил меня за плечо. Для меня это было началом конца.

Он притягивал меня все ближе и ближе к себе, чтобы ему было удобнее вцепиться зубами мне в горло. Пасть его была открыта и оскалена в злорадной усмешке. Словно бы только пробуя свою силу, он так сдавил и свихнул мне плечо, что я страдал от этого всю мою остальную жизнь.

И тут случилось нечто непредвиденное. Мы даже не сразу поняли, что произошло. На всех нас четверых вдруг рухнуло чье-то огромное тело. Мы кубарем покатились в разные стороны, перевернувшись раз десять и сразу же отпустив друг друга. В тот же миг Скуластый ужасающе вскрикнул. Я не осознавал, что творится, но почувствовал запах тигра и, прыгая на дерево, увидел мелькнувшую полосатую шкуру.

Это был старина Саблезубый. Шум, который мы подняли, потревожил его, он вышел из своего логова и потихоньку подкрался к нам, никем не замеченный. Быстроногая теперь была тоже на дереве, стоявшем рядом с моим, и я тотчас же прыгнул к ней. Я обнял и прижал ее к себе, а она тихо всхлипывала и плакала. Снизу слышалось рычание и хруст костей. Это приступал к ужину Саблезубый, пожирая Скуластого. С дальнего дерева, широко открыв свои воспаленные веки, смотрел на эту сцену Красный Глаз. Перед ним

было чудовище, куда более сильное, чем он. Мы с Быстроногой повернулись и спокойно двинулись по деревьям к пещерам, в то время как Племя, не отходя от места происшествия, обрушило на своего извечного врага град оскорблений, веток и сучьев. Тот колотил хвостом по земле, рычал, но продолжал дожирать Скуластого.

Таким именно образом мы были спасены. Все произошло благодаря случайности, благодаря чистейшей случайности. Не будь этого и погибни я в лапах Красного Глаза, через тысячу столетий не родился бы тот, кто читает газеты, ездит в трамвае и — да-да! — пишет эту повесть о событиях древних, седых времен.

Глава XVII

Это случилось ранней осенью, на следующий год. Вскоре после неудачи с Быстроногой Красный Глаз взял себе другую жену, и, как ни странно, она все еще была жива. Еще более странным казалось то, что у них родился ребенок — первый ребенок Красного Глаза. Все прежние его жены жили у него слишком недолго, чтобы у них могли родиться дети. Этот год прошел для всех нас благополучно. Погода стояла удивительно мягкая, еды было в изобилии. Помню, что особенно уродилась в этот год репа. Хорош был и урожай орехов, а дикая слива выдалась очень крупной и сладкой.

Словом, это был благодатный, золотой год. И тогда-то и нагрянула на нас беда. Дело происходило ранним утром, и мы были захвачены врасплох в наших пещерах. Мы проснулись при свете серой холодной зари, которая большинству Племени предвещала смерть. Нас с Быстроногой разбудил невероятный визг и лопотанье. Наша пещера была на утесе выше всех остальных, мы выползли из нее и посмотрели вниз. Все поле перед пещерами было заполнено Людьми Огня. Их крики и

вопли еще более усиливали всеобщий шум, но в действиях пришельцев чувствовался какой-то порядок и план, а у нас не было ничего подобного. У нас каждый защищал только сам себя и действовал лишь на собственный риск, и никому из Племени не приходило в голову, насколько ужасно было нависшее над нами бедствие.

Скоро Люди Огня плотной толпой подступили к подножию утеса, и мы принялись швырять в них камни. Первые же наши удары, должно быть, нанесли врагу урон, ибо когда Люди Огня откатились назад, трое из них остались лежать на земле. Они корчились в судорогах, а один даже пытался уползти. Но мы скоро прикончили их. Все наши мужчины уже рычали от ярости и засыпали этих раненых градом каменьев. Несколько Людей Огня вновь подбежали к утесу и хотели оттащить раненых в безопасное место, но наши камни прогнали их обратно.

Люди Огня пришли в бешенство. Но вместе с тем они не утратили осторожности. Несмотря на свои яростные вопли, они держались на значительном расстоянии от утеса и через несколько минут пустили в нас тучу стрел. Это положило конец метанию камней. Скоро полдюжины из нас были убиты, десятка два ранены, а все остальные

укрылись в пещерах. Стрелы долетали и до моей высокой пещеры, но из-за дальности расстояния они уже утрачивали свою боевую силу, и Люди Огня перестали в меня стрелять. Однако я был любопытен. Мне не терпелось посмотреть, что будет дальше. Хотя Быстроногая, забившись в глубь пещеры, дрожала от страха и издавала горестные звуки, призывая меня к себе, я подполз к краю утеса и глянул вниз.

Сражение на время прекратилось. Оно как бы зашло в тупик. Мы сидели в своих пещерах, а Люди Огня раздумывали, как нас оттуда выгнать. Броситься прямо к пещерам у них не хватало смелости, а мы не желали подставлять себя под их стрелы. Время от времени, когда кто-нибудь из них приближался к подножию утеса, у нас находился смельчак, который метал в него камень. В ответ на это летело с полдесятка стрел, и смельчак оказывался убитым. Эта хитрость удавалась им несколько раз, но в конце концов никто из Племени больше уже не поддавался на провокацию и не вылезал из пещеры. Тупик в сражении принял безнадежный характер.

Среди Людей Огня, в задних рядах, я рассмотрел высохшего старого охотника, который руководил всеми остальными. Те подчинялись ему и

шли по его приказу куда угодно. Скоро группа посланных отправилась в лес и вернулась оттуда, притащив кучу хвороста, листьев и травы. Люди Огня подступили ближе к утесу. В то время как большинство пришельцев стояли на страже со своими луками и стрелами, готовые выстрелить в каждого из нас, кто только покажется из пещеры, часть их бросилась к нижним пещерам. Там, у самых входов, они кучами сложили хворост и сухую траву. Затем, поколдовав у этих куч, они вызвали чудовище, которого мы так боялись, — ОГОНЬ. Сначала появились и поползли вверх по утесу струйки дыма. Затем я увидел, как среди сучьев и ветвей, извиваясь, словно змеи, взметнулись красные языки пламени. Дым становился гуще и гуще, временами окутывая весь утес. Поскольку я сидел высоко, дым не очень меня беспокоил, хотя у меня щипало глаза и я тер их кулаками.

Первым был выкурен из пещеры старик Мозговитый. Легкий ветерок временами относил дым в сторону, и я мог ясно видеть, что происходило. Мозговитый прорвался через завесу дыма, ступил на раскаленные угли и, завизжав от внезапной боли, начал карабкаться вверх по утесу. Стрелы летели около него роем. Он приостановился на каком-то выступе, уцепившись за камень, и

чихал и мотал головой, явно задыхаясь. Он пошатывался, руки и ноги у него тряслись. В спине и боках у него торчали оперенные хвосты стрел, их было не меньше дюжины. Он был стар, и он не хотел умирать. Он раскачивался все сильнее, колени у него подгибались, и он все время жалобно всхлипывал. Потом, выпуская камень, руки его разжались, и он сорвался вниз. Его старые кости, надо думать, поломались все до одной. Он еще стонал и делал слабые попытки приподняться, но Люди Огня кинулись на него и размозжили ему голову.

Такова была участь, постигшая Мозговитого, и эту же участь разделили многие из Племени. Не в силах терпеть удушливый дым, они выскакивали из пещер и падали, сраженные стрелами. Кое-кто из женщин с детьми оставался сидеть в пещерах и задохнулся от дыма, но большинство приняло смерть от стрел.

Очистив таким образом нижний ряд пещер, Люди Огня стали готовиться, чтобы повторить операцию, поднявшись выше. Пока они лезли по каменьям, подтаскивая сухую траву и хворост, выскочил из своей пещеры Красный Глаз. Вместе с ним была его жена, к груди которой крепко прижимался ребенок. Они молниеносно бросились

вверх по утесу. Люди Огня, должно быть, считали, что пока они поджигают хворост, все мы будем смирно сидеть в своих пещерах, и появление Красного Глаза застало их врасплох. Они еще не успели прицелиться и пустить свои стрелы, как Красный Глаз и его жена были уже высоко на утесе. Добравшись до вершины, Красный Глаз повернулся и стал бить себя в грудь кулаками. Люди Огня принялись стрелять в него, но он, избежав даже легкой раны, тут же скрылся из виду.

Я видел, как Люди Огня обкуривали третий ряд пещер, а потом и четвертый. Лишь немногие из Племени спаслись, взобравшись на утес, большинство было сражено стрелами при первой же попытке к бегству. Помню, как погиб Длинная Губа. С жалким плачем он добежал до того выступа, где находилась моя пещера; в спине у него торчал оперенный хвост стрелы, а из груди высовывался костяной наконечник — стрела насквозь пронзила его, когда он лез вверх по камням. Он упал навзничь около моей пещеры, залив весь вход кровью.

Приблизительно к этому времени самый верхний ряд пещер уже опустел: их обитатели вылезали один за другим и карабкались вверх. Скоро на вершине утеса собрались все те, кого

не задушил дым и не сразили стрелы. Многие из них нашли тут спасение. Люди Огня не могли перестрелять всех, у них не хватало времени. Стрелы тучей взвивались вверх, беглецы десятками летели с утеса на землю, но тем не менее кое-кто успел перелезть через гребень утеса и спастись от опасности.

Стремление бежать и скрыться владело мною теперь гораздо сильнее, чем любопытство. Стрелы уже не летели к вершине утеса, Люди Огня затихли. Казалось, все наше Племя исчезло, хотя, возможно, кое-кто еще прятался в верхних пещерах. Теперь на вершину утеса стали карабкаться мы с Быстроногой. Увидев нас, Люди Огня разразились громкими криками. Такое волнение вызвал отнюдь не я, его вызвала Быстроногая. Люди Огня возбужденно тараторили между собой и указывали на нее пальцами. Стрелять в нее они даже не пытались. В нас не полетела ни одна стрела. Люди Огня начали мягко и ласково окликать Быстроногую. Я остановился и поглядел на нее. Вид у нее был испуганный, она плакала и убеждала меня спешить. Мы перевалили вершину утеса и скоро скрылись в лесу.

Полный недоумения, я часто раздумывал над этим событием. Если Быстроногая действительно

принадлежала к племени Людей Огня, то, вероятно, она когда-то в раннем детстве отбилась от них и уже не помнила своих сородичей, иначе она не испугалась бы их. С другой стороны, вполне может быть, что, принадлежа к их племени, она никогда и не отбивалась от Людей Огня; она могла родиться в диких лесах, вдали от их стойбищ, отцом ее мог оказаться какой-нибудь отщепенец из их же породы, а мать, возможно, была из нашего Племени. Все это было мне совершенно неведомо, и Быстроногая знала об этом не больше, чем я.

Мы пережили ужасный день. Почти все те, кто уцелел от налета Людей Огня, бежали к черничным болотам и нашли приют в окрестных лесах. И целые сутки отряды Людей Огня рыскали по лесу, убивая моих соплеменников, как только их находили. Надо полагать, они действовали по заранее обдуманному плану. Расплодившись так, что их земли стали им тесны, они решили завоевать наши. Но разве это можно назвать завоеванием? Силы были слишком неравны. Это была бойня, разнузданная бойня, ибо Люди Огня не щадили никого, убивая старого и малого, истребляя на нашей земле всех до единого.

Для нас это было как конец света. Мы мчались по деревьям, надеясь найти убежище хоть в лесу,

но дело кончалось тем, что нас окружали со всех сторон и умерщвляли стрелами, семью за семьей. Мы с Быстроногой видели в тот день множество подобных сцен; сказать по правде, я и стремился увидеть все своими глазами. Мы никогда не сидели долго на одном и том же дереве, вследствие этого Людям Огня не удавалось нас окружить. Но куда нам было деваться, куда идти, этого мы не знали. Казалось, Люди Огня вездесущи; упорно гоняясь за нашими сородичами и истребляя их, они могли появиться где угодно. Куда бы мы ни кидались, мы всюду наталкивались на них и всюду видели следы их деяний.

Я не знаю, что сталось с моей матерью, но я видел, как был сбит стрелой с моего родного дерева Болтун. Боюсь, что в эту минуту я от радости начал трясти свое дерево. Прежде чем закончить эту часть моего повествования, я расскажу о Красном Глазе. Его настигли вместе с женой на дереве около болота, где росла черника. Мы с Быстроногой увидели это издали и приостановились посмотреть, чем все кончится. Люди Огня были слишком заняты своим делом и не замечали нас, а, помимо того, мы старательно прятались в густой листве ветвей, на которых сидели.

Два десятка охотников стояли под деревом,

посылая в него стрелы. Если стрелы падали обратно на землю, охотники тут же подбирали их. Красного Глаза я не видел, но все время слышал его рычание, несущееся откуда-то с дерева. Скоро это рычание стало звучать гораздо глуше. Вероятно, Красный Глаз нашел в дереве дупло и залез в него. Но его жене найти подобное убежище не удалось. Стрела сбила ее наземь. Она была тяжело ранена и даже не пыталась вскочить на ноги и скрыться. Корчась и пугливо пригибая голову, она держала на груди прижимавшегося к ней ребенка, стонала и делала умоляющие знаки Людям Огня. Те окружили ее и принялись хохотать — точно так, как мы с Вислоухим хохотали когда-то над стариком из Лесной Орды. И точно так же, как тыкали и кололи его ветками и палками мы, кололи и тыкали жену Красного Глаза Люди Огня. Они кололи ее кончиками своих луков, всовывая их женщине между ребер. Но такая забава доставила охотникам не так уж много удовольствия. Дело в том, что женщина не сопротивлялась. Она даже не злилась; склонясь над своим детенышем, она сидела и по-прежнему жалобно хныкала, моля пощады. Вдруг один из Людей Огня с решительным видом шагнул к ней. В руках у него была дубинка. Женщина подняла

глаза, понимая, что все это значит, но она лишь умоляюще застонала и не двинулась с места, пока на нее не обрушился удар.

А Красный Глаз сидел в дупле, и его нельзя было достать никакими стрелами. Охотники стали в кружок и некоторое время совещались, затем один из них влез на дерево. Что произошло на дереве, я не могу сказать, но я слышал, как завопил охотник, и видел, как встревожились Люди Огня внизу. Прошло несколько минут, и охотник вниз головой свалился с дерева на землю. Он лежал, не подавая признаков жизни. Люди Огня посмотрели на него и приподняли ему голову, но голова снова бессильно упала, как только они выпустили ее из рук. Красный Глаз сводил счеты.

Люди Огня были очень рассержены. В стволе дерева, лишь на дюйм от земли, виднелось отверстие. Охотники сложили тут груду сучьев и сухой травы и разожгли костер. Крепко обнявшись, мы с Быстроногой сидели в своем укрытии и ждали, чем кончится эта борьба. Время от времени Люди Огня бросали в костер совершенно сырые, зеленые ветви, и тогда дым поднимался необычайно густыми, черными клубами.

И вдруг мы увидели, как охотники поспешно отскочили от дерева. Но все же они сделали это

недостаточно быстро. Грузное тело Красного Глаза рухнуло прямо на них. Красный Глаз был в невероятной ярости и размахивал своими чудовищными длинными руками направо и налево. Одному охотнику он снес лицо — буквально снес своими шишковатыми железными пальцами. Другого он ударил по шее. Дико завопив, Люди Огня сначала отступили, а потом бросились на него. Красный Глаз схватил валявшуюся дубинку и начал разбивать им головы, как яичную скорлупу. Справиться с таким чудовищем Людям Огня было явно не под силу, им снова пришлось отступить. Красный Глаз увидел, что упускать подобный момент нельзя: он повернулся и бросился бежать, все еще бешено рыча. Несколько стрел полетело ему вслед, но он нырнул в чащу и тут же исчез.

Соблюдая крайнюю осторожность, мы с Быстроногой ушли по деревьям в другую сторону, но и тут наткнулись на новый отряд охотников. Они загнали нас на черничное болото, но мы прошли через трясину по тропам, которых они не знали, и таким образом скрылись от них. Мы пересекли трясину и оказались на узкой лесной полосе, отделявшей черничное болото от обширных топей, простиравшихся далеко на запад. Тут-то мы и встретились с Вислоухим. Как спасся он, не могу

себе представить, разве только благодаря тому, что не ночевал предыдущую ночь в пещерах.

Здесь, на узкой лесной полосе, мы могли бы построить гнезда на деревьях и прочно обосноваться, но Люди Огня продолжали упорно преследовать Племя и истреблять его. К вечеру выбежали и промчались мимо нас, скрывшись в лесу, Волосатый с женой. Они бежали очень торопливо, молча, лица у них были встревоженные.

С той стороны, откуда они бежали, к нам донеслись воинственные крики охотников и вопли кого-то из Племени. Люди Огня нашли-таки дорогу через трясину.

Быстроногая, Вислоухий и я бросились бежать за Волосатым и его женой. Выбежав к краю великих болот, мы остановились. Мы не знали тут ни одной тропы. Эти места были далеко за пределами наших владений, и Племя всегда избегало заходить сюда. Во всяком случае, я не знал никого, кто побывал бы здесь и вернулся. В наших глазах эти болота были чем-то таинственным и страшным — страшным своей неизвестностью. Как я сказал, мы остановились у края болота. Мы дрожали от страха. Крики Людей Огня слышались все ближе и ближе. Мы посмотрели друг на

друга. Волосатый вступил в зыбкую жижу и ярдах в двенадцати от берега нащупал ногами твердую кочку. Жена его оказалась не столь смелой. Она попробовала было войти в болото, но, коснувшись его предательской поверхности, отпрянула назад и боязливо сжалась.

Быстроногая даже не думала меня ждать, она кинулась вперед и, обогнав Волосатого ярдов на сто, нашла еще одну большую кочку. К тому времени, когда мы с Вислоухим оказались рядом с ней, из-за деревьев выскочили Люди Огня. Увидев их, жена Волосатого в ужасе метнулась вслед за нами. Но она бежала наугад, не выбирая места, и через несколько шагов провалилась по пояс. Оглянувшись назад, мы увидели, как охотники пускали в нее стрелу за стрелой, а она медленно погружалась в трясину. Теперь стрелы начали падать уже около нас. Мы собрались вместе, все четверо, и двинулись вперед, сами не зная куда, шагая по болоту все дальше и дальше.

Глава XVIII

Ясного представления о наших блужданиях по великим болотам у меня нет. Когда я вспоминаю об этом, в памяти всплывают разрозненные картины, но установить какие-либо границы во времени я не могу. Я не знаю, как долго мы бродили в тех проклятых местах, но, вероятно, целые недели. Мои воспоминания о том, что тогда происходило, неизменно переходят в жуткий кошмар. Сквозь тьму бесчисленных веков, подавленный первобытным страхом, я вижу, как мы без конца блуждаем, блуждаем по зыбкой, промозглой трясине, пропитанной водой, на нас бросаются ядовитые змеи, рычат поблизости прожорливые звери, под нами колышется и зыблется, засасывая ноги, тинистая, вязкая почва.

Помню, что мы то и дело сворачивали со своего пути из-за встречных потоков, озер и обширных топей. Помню бури и дождь и сплошь залитые водой громадные низины; помню дни горьких невзгод и невыносимого голода, когда поднявшиеся воды загоняли нас на деревья и мы надолго оказывались там пленниками.

Ярко встает передо мной следующая картина.

Мы стоим у огромных деревьев, с их ветвей свисают волокна седого мха, а ползучие растения, словно чудовищные змеи, вьются по стволам, причудливо переплетаясь в воздухе. Всюду вокруг нас топь, затянутая грязной жижицей топь: она пузырится от газов и, пыхтя и вздыхая, ходит мерными валами. И среди этой вонючей топи мы, нас около дюжины. Мы невероятно исхудали, до крайности изможденны, кожа плотно обтягивает наши кости. Мы не поем, не болтаем, не смеемся. Мы забыли о шутках и проказах. Наш беспечный и бодрый дух на этот раз беспримерно подавлен и побежден. Мы издаем какие-то жалобные тягучие звуки, переглядываемся и теснее жмемся друг к другу. Мы похожи на кучку жалких существ, переживших конец света и встретившихся на другой день после его гибели.

Эта сцена видится мне без всякой связи с другими событиями, происшедшими на болотах. Не приложу ума, как нам удалось преодолеть страшные топи, но в конце концов мы выбрались к гряде небольших холмов, спускающихся к реке. Это была наша река; она выходила из великих болот, как теперь вышли из них и мы. На южном берегу, где река пробивала свой путь между холмами в крутояре, сложенном из песчаника, мы

обнаружили множество пещер. Вдали на западе, перекатываясь через отмель в устье реки, гудел морской прибой. Здесь-то в пещерах, по соседству с морем, мы и обосновались.

Нас было очень немного. Потом к нам начали приходить и присоединяться те из Племени, кому удалось спастись. Они выбирались из болот поодиночке, по двое и по трое, гораздо более похожие на мертвецов, чем на живых, настоящие ходячие скелеты. В конце концов в пещерах собралось тридцать соплеменников. После этого уже никто из болот не появлялся. Красного Глаза среди нас не было. Не было среди нас и детей — такого мучительного пути не перенес ни один ребенок.

Я не стану подробно рассказывать о нашем житье в пещерах у моря. Это стойбище оказалось не из счастливых. Тут было сыро и холодно, и мы постоянно кашляли и страдали от простуды. Долго жить в такой местности мы не могли. Правда, у нас рождались дети, но они хирели и умирали — умерших у нас вообще было больше, чем народившихся. Нас становилось все меньше и меньше.

Помимо всего прочего, пагубно отразилась на нас резкая перемена в пище. Овощей и плодов

мы собирали мало, ели главным образом рыбу. Там было множество моллюсков, устриц, двустворчатых раковин и больших морских крабов, выбрасываемых штормом на берег. Мы нашли, кроме того, несколько видов морских водорослей, очень хороших на вкус. Но перемена в пище вызвала у нас желудочные заболевания, никто из нас не мог по-настоящему пополнеть. Все мы были худые и нездоровые на вид. Вылавливая на отмели громадных моллюсков-абалонов, погиб Вислоухий. Абалон защемил ему пальцы и продержал его до тех пор, пока не начался прилив. Вислоухий утонул. Мы нашли его тело на следующий день; это был для нас тяжелый урок. Никто из нас уже не совал больше рук в защелкивающуюся раковину абалона.

У нас с Быстроногой родился ребенок, мальчик, и мы выхаживали его в течение нескольких лет. Но я твердо знаю, что, не уйди мы в другие места, он никак не перенес бы того ужасного климата. А затем вновь появились Люди Огня. Они приплыли к нам по реке — и не на катамаране, а в грубом долбленом челноке. Гребцов в челноке было трое, и один из них — высохший от старости низкорослый охотник. Они причалили к нашему берегу, и старик, прихрамывая, поднялся по песчаному

откосу и пристально оглядел наши пещеры.

Через несколько минут Люди Огня уплыли, но Быстроногая никак не могла оправиться от страшного испуга. Мы перепугались все, но никто не был взволнован в такой мере, как Быстроногая. Она хныкала и рыдала, не находя себе покоя всю эту ночь. Утром она взяла ребенка на руки и, громко крича и жестикулируя, заставила меня пуститься во второе великое странствование. В пещерах теперь оставались лишь восемь мужчин и женщин — последние наследники Племени. Да и их будущее было безнадежным. Если бы Люди Огня даже не вернулись, все равно они скоро бы погибли. Слишком вреден был климат в тех местах. Наше Племя к жизни у моря было совершенно не приспособлено.

Мы с Быстроногой двинулись на юг, все время огибая великие болота и ни разу не рискуя в них углубиться. Однажды мы повернули к западу, перевалили гряду гор и вышли на побережье. Но обосноваться там было немыслимо. Там совсем не было леса — лишь унылые голые откосы и скалы, гремящий прибой и упорный сильный ветер, который, казалось, никогда не затихал. Мы отступили снова в горы, пересекли их и, держа путь на восток и юг, опять оказались у великих болот.

Скоро мы достигли южной окраины болот и пошли оттуда прямиком на юго-восток. Перед нами открылись прекрасные места. Было очень тепло, снова вокруг нас шумел густой лес. Потом мы, пройдя невысокую цепь холмов, очутились в чудесной земле — это была поистине Страна Лесов. Чем дальше мы уходили от морского берега, тем мягче и теплее становился воздух; мы шли и шли, пока перед нами не блеснула большая река — Быстроногой она была, по-видимому, знакома. Должно быть, именно здесь провела Быстроногая те четыре года, в течение которых ее не было в Племени. Мы переплыли реку на бревнах и вышли на берег у подножия громадного утеса. Высоко на утесе мы нашли себе новое жилище — почти недоступную и невидимую снизу пещеру.

Теперь мне остается рассказать совсем немного. Мы с Быстроногой жили в этой пещере и выхаживали своих детей. И на этом обрываются все мои воспоминания. Мы уже никуда больше не переселялись. Ни разу мне не снились иные места, кроме нашей высокой, недоступной пещеры. И здесь, надо думать, родился ребенок, унаследовавший первоисточник моих снов и таким образом впитавший в себя все впечатления моей жизни или, вернее, жизни Большого Зуба,

моего второго «я» — ведь хотя он и не является моим истинным, реальным «я», он реален для меня настолько, что я не в силах сказать, в каком же именно веке я живу.

Я часто изумляюсь, раздумывая над этой наследственной связью, над этим родством. Я, современный и реальный, являюсь, безусловно, человеком, но я, Большой Зуб, житель первобытных лесов, не человек. В какой-то точке, если проследить прямую линию моих предков и пращуров, эти два «я» моей раздвоенной личности соединяются. Было ли Племя, все мои соплеменники, прежде чем их истребили, — были ли они на пути превращения в человека? И прошел ли через этот процесс я сам и мои близкие родичи? С другой стороны, разве не могло случиться так, что кое-кто из моих потомков присоединился к Людям Огня и стал одним из них? Всего этого я не знаю. И нет никакой возможности это узнать. Несомненно только одно: Большой Зуб внедрил в мозг одного из потомков все события своей жизни, и они запечатлелись там столь неизгладимо, что бесчисленные поколения не могли их стереть.

Есть еще одна вещь, о которой я должен упомянуть, прежде чем кончу повесть. Мне часто

снится этот сон, а реальные события имели место, должно быть, в то время, когда я жил в той же высокой, труднодоступной пещере. Помню, я шел к югу по дремучим дебрям. Тут я наткнулся на Лесную Орду. Затаясь в чаще, я стал следить, как эти дикари играли. Их было тут целое сборище, они хохотали, прыгали и пританцовывали, напевая хором какую-то визгливую примитивную песню.

Вдруг они смолкли и прекратили свои прыжки и пляски. Съежась и бросая тревожные взгляды по сторонам, они пятились и словно бы хотели броситься прочь. В эту минуту в их толпе появился Красный Глаз.

Все трусливо уступали ему дорогу. У всех на лицах был написан страх. Но он и не пытался кого-нибудь задеть или обидеть. Он был один из них — он породнился с Лесною Ордою. Следом за ним, раскачиваясь на своих согнутых жилистых ногах и для равновесия опираясь костяшками пальцев обеих рук о землю, шла старая самка Лесной Орды — его нынешняя жена. Он сел посреди круга. Я вижу его и теперь, когда пишу эти строки, вижу, как он хмуро уставился своими воспаленными глазами на Лесную Орду, робко расступающуюся перед ним. И, не вставая с места, он вдруг задирает свою чудовищную ногу и кривыми цепкими

пальцами чешет себе живот. Ведь это же Красный Глаз, само воплощение атавизма.